

Игорь ЛОЩИЛОВ

КАДЕТЫ

*Отрядный
корпус*



Жизнь - Родине, сердце - маме, честь - никому!

Игорь Лоцилов

Отчаянный корпус

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=180290

Отчаянный корпус: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-22996-3

Аннотация

Алик Новиков, Сережа Ильин и Женя Ветров – воспитанники суворовского училища послевоенного времени. С ними занимаются педагоги, большинство из которых хоть и не получили достойного образования, зато это честные и мужественные люди, прошедшие войну. И мальчишки набираются от них жизненного опыта, ума, постигают военную науку, учатся быть справедливыми, милосердными, великодушными. И, конечно, превыше всего ставить честь и настоящую мужскую дружбу.

Содержание

Большие проказники	4
Тихая месть	100
Конец ознакомительного фрагмента.	138

Игорь Николаевич Лощилов Отчаянный корпус

Большие проказники

Екатерина II вставала рано. То ли в подражание Петру Великому, начинавшему трудовой день до света, то ли в противоположность своей предшественнице, которая после развеселых ночных гульбищ отходила ко сну лишь на заре. Обычно государыня сама одевалась, зажигала свечи, а пару раз из озорства даже сама разводила огонь в камине, что угодливые историки вменили ей потом в повседневную привычку. Прибегать к подобным домыслам не следовало, она и в самом деле не была капризной в быту и часто повторяла: «Надо жить самой и давать другим». То и другое делалось ею с величайшей охотой, не убавившейся даже сейчас, в пору закатной зрелости.

Сегодня вышло проснуться совсем рано и так сразу, словно бы от властного толчка, каким часто награждал ее в свое время бесцеремонный муженек. Она удивилась появлению неожиданного соседа и пошарила рукой по постели – нет, никого. Значит, примстилось.

Движение нарушило покой лежавших в ногах собачек. Сэр Томас недовольно заворчал, а капризная Мими неприятно взвизгнула. В спальне было темно, тусклый свет от лампы не мог разогнать ночной мрак. Собачки успокоились, кругом стояла тишина, казалось, почивай себе без огляда, но сон отлетел. Екатерина продолжала нежиться до тех пор, пока в соседней туалетной не послышались тяжелые шаги горничной – мужиковатой камчадалки Алексеевой, набеленной и нарумяненной, подобно шаману на ее родине. Дитя природы доселе не научилась управляться в комнатах, казавшихся ей тесными, и поминутно натыкалась на мебель. Екатерина прислушалась к неловкому шуму. Вдруг раздался звонкий грохот, произведенный упавшим медным тазом, в котором приносился лед для обтирания лица императрицы.

«Вот растяпа, – воскликнула государыня, – придется все-таки отказать ей от места». Собачки снова заволновались, и Екатерина подгрребла их к себе. В туалетной установилась тишина, Алексеева ползала по полу, собирая лед и наскоро обтирая его от сора передником. «Откажу, сегодня же откажу», – снова подумала Екатерина, но уже без прежней решимости, ибо не любила менять свою прислугу. Во время туалета она удержалась от выговора, памятуя правило – не выказывать гнев тотчас же. Потом прошла в кабинет, выпила крепчайшего кофе с гренками, покормила собачек и принялась за бумаги. От писания она испытывала истинное наслаждение, чистый лист манил ее, как ломберный стол заядло-

го игрока. Этому делу можно было бы отдавать все время, и, чтобы хоть как-то ограничивать себя, она приказала слугам очинивать только два пера. Первое предназначалось для утренних часов, и в такое счастливое время ее никто не смел тревожить. Привычный, точно соблюдаемый уклад быстро успокоил, и утреннее происшествие, к счастью неосторожной камчадалки, вовсе забылось.

Незадолго до девяти утра раздался знакомый стук в дверь, и в кабинет вошел статс-секретарь Храповицкий. Высокую должность он стал исполнять недавно, но до того уже долгое время состоял при государыне для совершения разных проворных дел. Храповицкий был сметлив и расторопен, почтителен без угодливости, остроумен без дерзости, услужлив без назойливости – словом, удобен на всякий случай, только чересчур проказлив, за что нередко испытывал недовольство государыни. Та, однако, мирилась с шалуном и далеко от себя не отпускала. Ценила, как и в прежнем своем секретаре Безбородко, преданность делу. Они вообще были людьми одного склада. Бывало прокутят всю ночь, а под утро отворят себе кровь из обеих рук, чтобы выпустить дурной угар, и в назначенный час предстанут пред державные очи – чистые, как стеклышки.

Екатерина посмотрела на вошедшего и усмехнулась: возможно, он и нынче прибежал к спасительной операции – опять едва не просвечивает, будто из царства теней заявился. Но догадки строить не стала, только кивнула в знак при-

ветствия и показала глазами на приемную – кто, дескать, там дожидается. Это был знакомый, каждодневный ритуал: Храповицкий рассказывал о пришедших на прием людях, упирая на пикантные подробности, которые императрица затем ловко вплетала в беседу.

– Так я слушаю, – поторопила она секретаря.

Тот сделал почтительное лицо и проговорил:

– К вашему величеству изволил пожаловать царь греческий, правитель Фив...

– Да вы никак пьяны, Адам Васильевич? – Лицо Александра Храповицкого, нареченного по воле императрицы Адамом, не выражало ничего, кроме почтительности, разве глаза странно блестели. – Ну-ка, признавайтесь, где шалили.

Храповицкий опустил глаза и виновато проговорил:

– Его сиятельство граф Безбородко княжий стол устраивал.

– Княжий? Мы, как помнится, его этим титулом не удоставляли.

– По нашим обычаям всяк жених называется князем, а от княжеских приглашений отказываться не полагается.

– Да вам что князь, что грязь – все едино. С кем ни поведетесь, все равно наберетесь. Итак, кто у нас в приемной?

Храповицкий вздохнул и стал перечислять посетителей. Они были обычны и хорошо знакомы: государственный канцлер Безбородко, обер-полицмейстер с ежедневным утренним докладом, придворный ювелир, несколько генера-

лов и важных чиновников, а из прочих – механик-изобретатель, уже с неделю ждущий приема. Государыне пришла охота заказать ему какой-то проект, но потом желание прошло, а настырный старик каждое утро исправно приходит и отсиживает в приемной.

– Это все?

– А еще царь греческий, правитель Фив, – сказал Храповицкий, упрямо наклонив голову, и скороговоркой пояснил: – Ваше величество, будучи давеча на представлении трагедии «Эдип в Афинах», приказали этого царя к себе привести. Вот он и дожидается.

О боже! Она действительно говорила что-то в этом роде. Екатерина вспомнила недавнее представление Озеровской трагедии и актера, игравшего роль царя Эдипа. У него был звучный голос и молодая стать, плохо скрывавшаяся под личиной слепого, удрученного жизнью старца. Но вместе с тем угадывался незаурядный темперамент. Ей захотелось взглянуть на молодого человека поближе, чтобы дать несколько наставлений. Так, по-матерински. Как же могла она забыть об этом и отчитать секретаря столь вульгарным образом? Она взглянула на потупившегося Храповицкого, который, кажется, хорошо понимал угрызения ее совести. Но не извиняться же перед ним. Не жалко поклона, жалко признаваться в собственной недогадливости.

– Нельзя, чтобы царь Эдип томился в приемной среди обычных смертных, – наконец сказала она. – Кстати, кто он

таков?

– Выпускник кадетского корпуса Нащокин Павел Васильевич.

– У нас в армии есть такой генерал. Не родственник ли он тому?

– Младший брат-с. Поведения похвального и прилежания отменного. Старший пошустрее будет, хоть и невелик ростом, но с бо-ольшим гонором...

– Это теперь так называется? – усмехнулась Екатерина, а Храповицкий возликовал, почувствовав во фривольном тоне государыни стремление сгладить допущенную несправедливость. Но вида не подал и продолжил:

– Тот, говорят, никакого начальства над собой не признает, даже бога считает у себя в подручниках. Светлейший князь Григорий Александрович на этот счет пошутить изволил, когда Нащокина в генерал-поручики произвели: «Ну, теперь и богу повезло, тоже в приличные люди вышел».

– Услышал бы светлейшего кто-нибудь из епископов, – сказала Екатерина с притворной строгостью, но на самом деле напоминание о Потемкине, с которым у нее сохранились дружеские отношения, было ей приятно.

Царь Эдип оказался скромным юношей, несколько растерявшимся от близости с таким могуществом. Затворническая жизнь не давала доселе ему возможности соприкасаться с высокими особами. Самым значительным из достигаемых лиц являлся директор корпуса, а тут – российская импера-

трица.

– Смелее, молодой человек, – ласково проговорила Екатерина, – я не кусаюсь. Неужели вы считаете меня страшной?

– Вы... вы прекрасны, ваше величество! – с неожиданным жаром воскликнул юноша и приклонил колени.

– *C'est trop fort!*¹ Однако смею заметить, что в роль придворного льстеца вы зашли быстро. Чему же еще вас научили в корпусе?

Юноша вскинул голову и несколько напыщенно произнес:

Пройти всю жизнь дорогой чести,
Дорогой доблести суметь,
К одной отечественной пользе
Лишь рассуждение иметь!

– Прекрасно сказано! – Екатерина подхватила его тон и уже более деловито уточнила: – Род Нащокиных, это ведь старинный род?

– Так точно, мы одного корня с Романовыми.

– Уж не родственник ли вы мне? – насторожилась императрица, которой нередко досаждали сомнительные родственные связи.

– Родственник, – согласился молодой человек.

– И в какой же степени?

– Вы мать России, а я сын ее!

¹ Это уж слишком! (*фр.*)

Екатерина не была падка на лесть. Долгое пребывание на вершине власти убедило, что льстецы обычно преследуют своекорыстные цели, но сейчас голос юноши прозвучал так искренне, что было трудно подозревать его в каких-то иных намерениях.

– Каков молодец! – воскликнула она с неменьшей искренностью. – И почему он до сих пор не произведен в офицеры?

– Выпускные кадеты ждут Вашего указа, – пояснил Храповицкий.

– Считайте, что для этого молодого человека он последовал. Поздравляю вас, господин поручик.

Нащокин проворно преклонил колени.

– Рад стараться, ваше величество!

– Не стоит благодарности, мною руководит своя выгода: по логике вашего брата, я тоже выхожу в приличные люди. Интересно, какой чин вы мне дадите?

Шутка Потемкина была хорошо известна, Нащокин смеялся, но только на мгновение, и сказал:

– Поскольку ваш верный слуга удостоился офицерского чина, его повелительница должна стать генералом... полным генералом.

Екатерина была склонна к полноте, усугублявшейся возрастом и жирной пищей, до которой была большой охотницей. Как всякая стареющая женщина, она пыталась бороться с этой напастью, но война с нею складывалась неудачно, позиции сдавались одна за другой, и любые напоминания на-

счет ее полноты воспринимались крайне болезненно. Так на какую же полноту намекает сей вьюнош?

Храповицкий быстро оценил шутку и пришел на выручку:

– Главного, юноша хотел сказать, главного генерала!

– Тогда еще куда ни пошло. Я хоть и не имею девичьей стройности, но все же...

Екатерина заметно успокоилась, она окинула Нащокина благосклонным взглядом и поинтересовалась, кто готовил с ним роль царя Эдипа, а, услышав фамилию Дмитревского, сказала:

– Иван Афанасьевич хорошо потрудился, только зачем он заставил вас кричать на слуг?

– Для строгости...

– Это совершенно зря. «То повеление исполнится с охотой, что сказано не злом, а разумением» – такого правила придерживаются монархи, можете поверить мне на слово. Впрочем, я дам вам возможность убедиться в том лично. Ступайте за ширму и слушайте, как следует говорить с подчиненными, это пригодится для службы. Только сидите тихо, чтобы люди ничего не подумали.

Новоиспеченный поручик быстро занял свой первый офицерский пост, и с этого времени прием пошел заведенным порядком. На очереди оказался граф Безбородко, который, по уверению Храповицкого, находился в большом возбуждении. Екатерина не удивилась. «Это у графа обычное состояние, – заметила она, – оно знакомо многим нашим девицам.

Кстати, как зовут его новую пассию?» Храповицкий замялся и пробормотал, что ее имя не объявлялось и держится в сугубом секрете. Императрица подозрительно посмотрела на него – кажется, эти греховодники что-то задумали, но допытываться не стала и решила обратиться к первоисточнику.

Граф стремительно ворвался в кабинет и, едва сдерживаясь от ликования, припал к руке императрицы.

– Она согласна, согласна, ваше величество!

Голос Екатерины прозвучал невозмутимо:

– Я в том нисколько не сомневалась, удивляюсь, что вам пришлось ее еще уламывать.

– Как же-с, три дня и три ночи, но куда деться, если она оказалась почти раздетой?

С возрастом Екатерина сделалась более строгой в нравах и допускала фривольности только во время своих куртуазных собраний. Поэтому нахмурилась и произнесла:

– Ну, уж здесь эти подробности ни к чему. – Любопытство все же взяло верх: – И сколько же взяли приданого?

Безбородко приосанился и гордо произнес:

– Десять миллионов золотом!

– Боже, я и не знала, что у нас есть такие богатеи! Уж не родственница ли она самому Харун-аль-Рашиду?

– Родство несомненно наличествует.

– Она, что ж, не нашенской веры?

– Магометанской.

– Как же вы теперь жить будете?

– В мире и согласии, так и прописали. По сему случаю я завтра устраиваю маскарад и прошу вас почтить его своим присутствием.

Граф весь сиял, какая-то внутренняя радость переполняла его, и Екатерина решила состорожничать:

– Не знаю, как и быть... – Однако женское любопытство снова взяло верх, и она проговорила: – Надобно взглянуть на невесту... Как ее, кстати, зовут?

– Турция, ваше величество.

– Что за странное имя! – удивилась императрица.

– Прикажете изменить?

– Господи! Что вы несете, граф?

Так и есть, старый проказник опять что-то задумал. Граф, несмотря на возраст и солидное положение, нет-нет да преподносил сюрпризы, так что с ним всегда нужно было держать ухо востро. А он, как ни в чем не бывало, продолжил все в том же радостном тоне:

– После побед вашего величества она на все согласна, так прямо в трактат и впишем...

Екатерина с недоумением посмотрела на Безбородко, потом перевела взгляд на Храповицкого, и тот пояснил:

– Граф подразумевает трактат о мире с Турцией, который он имеет честь преподнести вашему величеству.

– Однако, господа... Давайте, граф, свои бумаги. Так вот какова истинная причина вашего ликования.

– Точно так-с, ваше величество, – сказал он, подавая бу-

маги, – три дня, говорю, уламывали. Турок понять можно: раздели, как говорится, и по миру пустили. Пусть знают, как супротив нас воевать.

– И что же? – сказала Екатерина, просмотрев бумаги. – Помыслили бы, как жить с нищим и озлобленным соседом, токмо о реванше помышляющем.

– Эко дело, полезут – сызнова поколотим. Только при таких издержках им денег на скорую войну никак не собрать.

Екатерина наставительно сказала:

– Вы далее загляните. Чем великую силу в Крыму содержать, лучше нам с южным соседом в добросердечии состоять – выгоднее.

Граф, однако, твердо стоял на своем.

– Турки и так на Крым более не посягают. Только просят вписать в трактат, чтобы мы помимо их никому его не передавали, нам, говорят, этого Аллах не простит.

– Коли просят, впишите. В России таких дураков не найдется, чтобы земли раздаривать, по крайней мере, за сто лет вперед ручаюсь. А с трактатом – вот! – Она надорвала бумагу и придвинула к Безбородко. – Скажите, что российская государыня в их деньгах не нуждается.

– Ай, и отчаянна ты, матушка! – с досадой воскликнул тот. – Я ведь те деньги Австрии пообещал, уж больно молили о вспомоществовании. Нашего тамошнего посла Чернышева своими просьбами прямо-таки в гроб вогнали.

– Они же еще с прежним долгом не расплатились.

– Точно, не расплатились. Да и куда им, коли все время танцуют и на армию деньги жалеют, вот и ходят с протянутой рукой.

– Ничего, пусть перебьют себя, – заметила государыня, а верный своим обязанностям Храповицкий ненавязчиво поправил:

– Перебьются...

– Именно, – подтвердила Екатерина. – Они без армии, а мы без их менуэтов обойдемся. И запомните: нельзя, чтобы один сосед торжествовал через унижение другого. Так Чернышеву и передайте. Кстати, как его здоровье?

– До сей поры после удара не отойдет.

– А ведь мы совсем недавно отправили его в Вену. Нет, нельзя более допускать, чтобы немощные люди назначались на видные должности – подумают, что в России гнилой народ. У нас совсем недавно уже был подобный случай.

Она посмотрела на Храповицкого, и тот подтвердил:

– Точно так-с. Ваше величество тогда же отдали распоряжение проверять здоровье кандидатов на государственные должности.

– Так что же?

– По сему случаю в мастерской Кулибина особый аппарат сработали и готовы вашему величеству показать.

– Столь необычное усердие невозможно оставить без внимания, позовите мастера, – приказала Екатерина и уже собиралась отпустить графа, как вдруг, что-то вспомнив, задер-

жала его: – Постойте, я остаюсь в недоумении: Адам Васильевич сказал, что вы вчера устраивали княжий стол, не сообразовали ли открыть мне имя вашей избранницы? Ежели, конечно, не секрет.

– У меня от вашего величества секретов нет, – радостно воскликнул Безбородко, – тем паче, что наши вкусы совпадают. Свобода – вот моя нареченная, только с ней пребываю в истинном счастье. Свобода!

На сей раз государыня заявление графа вполне одобрила.

– Не имею повода к упрекам, – призналась она, – сама грешна.

Выпорхнувший из кабинета Безбородко едва не столкнулся с высоким креслом, увенчанным несколькими прозрачными разновысокими шарами. Его катил благообразный старик с узкой, на манер козлиной, бородой. Он остановил свое сооружение перед столом государыни, степенно поклонился и застыл, ожидая приказаний.

– Здравствуйте, сударь, – приветливо сказала Екатерина, – что это у вас за чудище обло огромное?

Храповицкий подтолкнул – ну же, отвечай. Старик сделал небольшую отступочку, как бы отстраняясь от назойливого существа, и спокойно заговорил:

– Эта пособка измыслена для измерения здоровья и потому названа здравомером...

– Как? Без докторских трубок и иных приспособлений? – В тоне императрицы слышалось явное недоверие.

– У нас своеобразная метода, – продолжил старик, – Взяв за цель проверку человека, определенного к государственной службе, мы рассудили, что он справлять оную пригоден, когда работают все евовные органы...

– Как справедливо ваше рассуждение! – воскликнула Екатерина.

– Засим садим его в кресло и заставляем поеелику возможно двигать своими членами: руками, ногами, шей, спиной – всем, что может шевелиться. Каждый член давит на свой рычаг, у того – своя пружина. Пружины натягиваются и образуют совокупную силу, по которой можно судить, годен человек к службе али нет.

Объяснение выглядело слишком просто, чтобы быть убедительным, и Екатерина выразила желание лично проверить аппаратус. Старик, однако, решительно воспротивился: его здравомер рассчитывался на мужскую силу, для женщин требовались иные пружины. Раз так, рисковать не следовало. Екатерина остановила взгляд на статс-секретаре, раздумывая, стоит ли подвергать столь нужного человека сомнительному испытанию. Возможно, что, несмотря на бессонную ночь, тому все-таки пришлось бы отстаивать свое право на государственную службу, но императрица рассудила, что найдет другой объект для проверки.

Как раз в это время из приемной донесся необычный шум, и Екатерина послала Храповицкого выяснить его причину. Бушевал приехавший с Дона казачий генерал, который кри-

чал, что имеет к государыне дело большой неотложности и ждать никак не может. Екатерина усмехнулась: эти казачки, как дети, – неумеренны и крайне настойчивы в капризах. Поэтому лучше не дразнить.

Генерал стремительно вбежал и ударил лбом об пол.

– Смилуйся, матушка-государыня, – вскричал он диким голосом сына степей. – Не вели казнить верного слугу! Возьми повинную голову и вырви язык мой поганый, всю остатнюю жизнь буду на тебя молиться.

– Но что, что случилось? Поднимитесь и объясните, в чем дело.

– Не встану, матушка.

– Ну, хорошо, делайте, как вам удобно. Так что же случилось?

– Я, видит бог, матушка, всю жизнь голову за тебя ложил, у смерти рядышком стоял, и ран на моем теле счесть не можно. Дело воинское свято справлял, за что чинами и наградами по твоей милости не обойден. Да вот, видишь, потянуло меня, старого дурня, столицу посмотреть. Хорош твой город – что ни курень, то дворец, зато и соблазнов много. Доконали они меня, матушка. Люди здесь приветливые, в гости зовут, еды-питья не считают. В общем, свеселел я вчера и с седла сшибся, даром что на земле не лежал. Я во хмелю спокойный, только шибко говорливый.

– Вижу, он у вас до сих пор не прошел, – заметила Екатерина.

– Еще бы, полведра, должно быть, принял. Так вот, натыкаюсь на одного человека, в годах уже, совсем седого, но гладкого и цветом красного, наподобие клопа. Они, к слову сказать, матушка, здесь настоящие звери. Но этот, вижу, кусать не собирается – улыбается и словами наводит, как там казачки, чем живут и что говорят. Я ему и начал класть. Язык-то без костей, все мелет. И чего только не намолол спьяну. Уж потом добрый человек шепнул: поостерегись, мол, с разговором, ведь это сам Шешковский. Тут с меня весь хмель разом слетел. А старик этот, стало быть, Шешковский, сказал, что я ему дюже понравился, и пригласил к себе на обед. Обещал борщом накормить и на ноги поставить... Спаси, матушка, освободи от обеда. Слышал я об евовных борщах, не дай опозориться на старости лет.

– Уж и не знаю, как быть, – засомневалась Екатерина, – кто знает, что вы такое ему наговорили, может, о делах государственных...

– Вестимо, о них, матушка. О чем же еще говорить по пьянке?

– Ну и что же именно?

– Да все то же, о чем казаки толкуют. Не след бы нам холопов беглых принимать и на свою землю садить. Через них голытьбы стало так много, что трава в степи примялась, лошадям пасущимся пригинаться приходится. Дон наш Тихий не голытьбою был завсегда силен, а домовитыми казаками. Их же по твоему указу на Кавказ гонят селиться. Из балок

да в горы – какая радость? Казаку, матушка, простор нужен и воля вольная, без нее он уже не казак.

– Зато государству от вашей вольницы беда. От нее смута идет, Разины и Пугачевы рождаются! – гневно воскликнула Екатерина.

– И-и, матушка, черви на мертвом дереве не живут. Коли есть плоды, то и черви будут. А у нашего Дона плодов куда как много, всю степь аж до самого моря повоевали и тебе отдали.

– Еще что говорили?

– А то еще, что хохлов ты зря приваживаешь. Ненадежный это народ, все время по сторонам зыркают, от России отложиться норовят. И кто они есть на самом деле? Те же русские, только язык коверкают. Можно ли верить таким, кто из родной семьи убежать хочет? И нам, казакам, то обидно, что преданных слуг своих теснишь, а этих приватно ласкаешь.

– Ну уж, это не ваше дело мне указывать.

– Не мое, матушка. За то и говорю, язык поганый отрезать надо.

– И про меня, верно, судачили?

– А то как же, матушка? Пьяному разговору без бабы нельзя.

Храповицкий не выдержал:

– Опомнитесь, сударь, перед вами российская императрица!

Тот даже привстал в недоумении.

– Нешто она не баба? Самая что ни есть. У нас таких кра-
лей в красный угол садят, чтобы любоваться. Казаки в этом
толк знают. Баба! Только не простая, а первая на всю импе-
рию.

Екатерина покрылась легким румянцем.

– Оставьте его, Адам Васильевич. И что же обо мне гово-
рили?

Генерал помолчал, опустив голову, потом ударил ею об
пол.

– Смилуйся, матушка, отрежь язык мой поганый.

– Верно, пакости какие-нибудь?

– Как можно, матушка, о богоданной царице такое гово-
рить? Меня бы в одночасье громом поразило. Нет, кроме
вольных речей ничего худого не было.

– Ну, так расскажите все, только сохраняйте приличия.

Генерал встряхнул головой и осторожно начал:

– Я этому старику так сказал: всем, говорю, наша матуш-
ка-государыня хороша, слажена-сделана – посмотреть лю-
бо-дорого, катится мягко, без скрипа, как искусная бричка...

– Я же вас просила, – укоризненно воскликнула Екатери-
на и посмотрела на Храповицкого.

Тот сделал успокаивающий жест и пояснил:

– Бричка – это навроде кареты.

– Вот-вот, – продолжил генерал, – всем, говорю, хороша
бричка, только передок слабоват. Много в ней народу поез-
дило, а вот казаку не пришлось. Изрядно в том, говорю, на-

ша государыня потеряла, потому как нет на свете справнее человека, нежели донской казак...

– Довольно! – огневалась Екатерина. – Ваше бесстыдство переходит все границы. Кто дал вам право заглядывать в сокрытые для постороннего глаза места?

– Сам господь, – громко сказал не потерявший присутствия духа генерал. Сказал так убежденно, что Екатерина осеклась. – Сам господь, – повторил тот, – ведь это он вознес тебя над всеми. А если на бабу снизу вверх смотреть, что прежде всего видно?

Он победно задрал голову да еще рот приоткрыл. Императрица на мгновение представила толпу глазающих обывателей и рассмеялась. Смех не раз выручал ее в затруднительных случаях.

– Ваша логика примитивна, но очень наглядна, – сказала она, – теперь понятно, почему ходит столько сплетен... Что же касается казаков, то, возможно, вы и правы. Я слышала, что это весьма мужественный народ. Жаль, что время ушло.

– Грех так говорить, матушка. Ты вон у нас какая красавица, в самой женской сладости.

И снова Екатерина зарделась. Она давно отучила окружающих от грубой лести, заставив завертывать предназначавшиеся ей сласти в изящные облатки, но, оказывается, что бесхитростное прямодушие доставляет не меньшее удовольствие.

– Ах вы, негодник... Может, посватаетесь?

– С великой радостью! Я даром что сед, но еще молодец. Одна загвоздка: моя хозяйка Домна Пантелеевна не дозволит, она насчет этого строга. Зато если хочешь, мы тебе такого казака найдем, что все европейские королевы от зависти лопнут.

– Надо подумать... Что ж, придется вас простить, но с угорвором: впредь в своих речах быть осторожливым. Договорились?

– Вот уважила, матушка! Спасибо превеликое. Только как насчет старика, заступишься?

– Я же сказала, что прощаю.

– Мне сказала, а вдруг Шешковский не поверит? – Генерал снова ударил головой. – Яви уж до конца монаршую милость, освободи от проклятого обеда.

Екатерина пожала плечами:

– Никак не возьму в толк, чем это бедный Шешковский так страшен? Отравит он вас, что ли?

– Отравит – не беда, боюсь, надругается.

– Эка важность, поругаетесь – помиритесь.

Тут пришла пора вмешаться Храповицкому, и он пояснил:

– В русском языке поругаться и надругаться – разные вещи. Надругаться – значит опозорить действием.

– Вот-вот, действием! – испуганно воскликнул генерал.

– Каким же, позвольте спросить?

– Ну, скверным, про которое сказать стыдно... Пони-

маешь? – Екатерина недоуменно посмотрела на собеседников. – Ну, штаны спустят, понимаешь?

– Это я понимаю, а дальше что?

– Дальше, кому какое наказание выйдет, – посуровел Калмыков, – кого пороть начнут, кого железом жечь, а кому вообще ноги выдернут...

– О! Как можно такое допустить?

Храповицкий не считал возможным выступить с разъяснениями, решил, что у генерала это получится лучше.

– Так и можно, у него для этого дела сотня подручников имеется да еще разные хитрости напридуманы. Сядешь, скажем, на лавку, а она тебя к потолку подбросит, навряд ли ровистой кобылы, или, того хуже, в подвал сбросит. Там тебя и отметелят. Такое дело. Заступись, матушка, защити от позора.

– Ну, хорошо, – согласилась Екатерина, – попробую договориться прямо при вас, я жду его с минуты на минуту. А вы, генерал, присядьте вон в то кресло. Кстати, заодно проверю вашу мужскую силу.

Простодушный генерал околичностей не любил, все воспринимал буквально и, конечно же, удивился: как?

– У меня для сего дела есть свой аппаратус, – призналась императрица, чем привела генерала в такое замешательство, что он смог исторгать лишь односложные слова.

– Как? – повторил он.

– Весьма просто.

– Когда?

– Прямо сейчас.

– Где?

– Да вон же в кресле.

– При всех?

– Испугались? А еще пели мне тут про казачью удаль.

– Ну раз так, гляди, матушка...

– Сударь, – обратилась Екатерина к мастеру, – приведите генерала в надлежащий вид.

– Пожалте сюда, ваше превосходительство, – ласково заговорил старик. – Мундир извольте снять, он у вас тяжелый, давить будет. Сабельку тоже отстегните, чтоб не мешала управляться. И сапоги... очень уж в них несподручно. А штаны не надо, это самый крайний случай.

Он усадил генерала в кресло, стал пристегивать ремни и что-то объяснять, затем подошел к императрице и доложил о готовности:

– Теперь, матушка-государыня, он по вашему слову силу свою начнет изъяслять.

– И как же мы узнаем результат?

– Вы за правым шаром следите, к нему стрелка будет подниматься. Коли дотянется и шар лопнет, значит здоров его превосходительство и годен службу справлять далее.

– На что ж другие шары?

– Они для других промыслов. У каждого промысла, извольте заметить, своя работа и свои органы в деле. Писцу,

скажем, ноги не шибко нужны, ему главное, чтобы пальцы писали да спина гнулась, ну и, понятно, то, что пониже. Для полицейского же это место вовсе даже лишнее, ему руки-ноги надобны да горло, а солдату опричь того и голова, чтоб было на чем кивер носить. Раз так, то и шары на разной высоте, не след же кенаря и орла одним аршином мерить.

Императрица нашла такое устройство разумным и приказала приступить к делу. На кресле начала совершаться работа, оно заскрипело, и скоро один из шаров лопнул, издав громкий хлопок.

– Вижу, вы и впрямь молодец, – похвалила его Екатерина. – И все-таки не могу понять, как такой отважный человек может верить нелепым слухам о Шешковском? Ежели такое и в самом деле имело место, уже давно бы кто-нибудь пожаловался.

– Боятся, ваше величество, да и как докажешь?

– Если все так, как вы говорите, то доказательства налицо.

– Верно, налицо. Только никто это лицо выставлять не хочет. Стыдно.

Она прислушалась к бою курантов и таинственно шепнула:

– Тихо, кажется, ваш Полидевк на подходе.

Генерал резво соскочил с кресла и прошмыгнул за ширму.

Было одиннадцать часов. Это время каждый четверг отводилось Степану Ивановичу Шешковскому, секретарю

Тайной экспедиции. Предшественницей сего заведения, ведавшего политическим сыском, была Тайная канцелярия разыскных дел, упраздненная Петром III как страшный символ прежнего правления. Во времена оные по ее решению летели головы и колесовались тела именитых сановников, случались даже казни чисто азиатской жестокости, когда сажали на кол. Все это оставило такую ужасную память, что Екатерина не решилась дать возрожденному учреждению прежнее название. Более того, она наделила Шешковского полной свободой действий, что позволяло ей находиться как бы в стороне от дел Тайной экспедиции и не пятнать образ милосердной правительницы. Шешковский успешно играл отведенную ему роль. Он был вездесущ и с помощью широкой сети агентов знал обо всем, что творилось в умах государевых подданных. Наказание же избирал по своему усмотрению: от снисходительной журбы до ссылки в Сибирь и смертной казни. Поговаривали, что он нередко самолично истязал провинившихся, хотя по отсутствию свидетелей никто этого не знал наверняка. Потемкин, встречая Шешковского, обычно спрашивал: «Ну как, Степан Иванович, все кнутобойничаешь?» На что тот неизменно отвечал: «Помаленьку, ваша светлость». Но то была только шутка, и позволить ее мог только Потемкин. Все прочие Степана Ивановича просто боялись. Боялся и Храповицкий, на что имелись особые причины.

Несколько лет назад, еще до нынешней должности, Хра-

повицкий увлекся идеями масонства. Увлечение это вряд ли шло от глубоких убеждений. Незнатного, но подающего надежды молодого человека просто увлекла возможность вращаться в компании знаменитых аристократов. Зачинщики собирались у князя Николая Голицына в его доме на Фонтанке. Там в одной из мрачных молелен стояло покрытое плащаницей подобие гроба, над которым тлела лампада из красного стекла в виде человеческого сердца. Об их таинственных собраниях шли разные толки, волновавшие воображение, а в особенности – любопытство Шешковского. Но того, разумеется, ни во что не посвящали. После нескольких неудачных попыток дознания он прибегнул к привычному средству: удалил под разными предлогами из столицы наиболее видных организаторов – кого за границу, кого в действующую армию, а кого на службу в дальние губернии. Подозревали, что легкость, с какой открылись разом столько вакансий, объяснялась вмешательством самой императрицы, но начал все Шешковский, и оставшиеся решили ему отомстить.

Была у Степана Ивановича странная привязанность к собачьей братии, а в особенности к невзрачной собачонке Аглае, звавшейся по имени давно умершей жены. Он ее повсюду таскал с собой, держал под мышкой, перебирая шерстку на загривке, и лишь изредка опускал на землю. Зимой обувал в башмачки. И благо была бы она какой-нибудь знатной породы, так нет, обычная дворняжка, к тому же еще и хро-

меньшая. Ее-то и избрали орудием мести, рассудив, что опасность, если что и откроется, будет невелика: ну какой может быть спрос за убогую безродную тварь? Однако выполнить задуманное оказалось не так просто. Аглая не поддавалась на приманки, а с приближением посторонних заливалась визгливым лаем. В конце концов ее все же удалось выкрасть с помощью подкупленного слуги. Что тут началось! Все явные и тайные агенты экспедиции переключились на поиск пропажи. Они действовали так рьяно, что из опасения разоблачения несчастное животное пришлось удавить, а труп подбросить хозяину.

Старик был неутешен и прекратил на целую неделю свое неусыпное бдение. Окончив траур, он принялся за расследование и скоро отыскал злоумышленника. Им оказался Храповицкий. Шешковский не показал вида, что все ему известно, и обычной своей любезности не потерял, а, встретив Храповицкого, пригласил к себе отобедать. Никакие отговорки в таких случаях не принимались, старик настойчиво повторял приглашение и, наклонив голову, упрямо повторял: «Уважьте, сударь, не побрезгуйте угощением, мне ваш совет крайне надобен». Дома он показал себя вполне радушным хозяином, о происшедшем не заикался, говорил все больше на отвлеченные темы, сопровождая свои рассуждения ссылкой на развешенные по стенам немецкие гравюры. Увидев, что гость порядком утомился, он всплеснул руками и сказал с притворным отчаянием:

– Ах я, старый дурень, совсем вас заговорил, прошу покорно извинить. Извольте-ка пересесть в это креслице, сразу взбодритесь. Оно принесено в дар прежней государыне ради чудесных свойств: лечения хандры и утишения страстей.

Кресло стояло на возвышении и имело необычный вид. Оно представляло собой сидящего льва, задние лапы которого служили опорой, а передние – подлокотниками. Храповицкий занял предложенное место и сразу ощутил, что достоинства кресла ограничиваются его внешним видом, сидеть же на нем было крайне неудобно.

– Потерпите, сударь, – сказал Шешковский, заметив его удивление, – я уже говорил: оно не для отдыха, но для лечения, – и с этими словами нажал на правую львиную лапу. Внутри что-то щелкнуло, лапы-подлокотники пришли в движение, обхватили сидящего и мертвой хваткой прижали его к львиной груди. Храповицкий почувствовал, что сиденье куда-то провалилось.

– Что за шутки, Степан Иванович? – воскликнул он с недоумением, а старик в ответ топнул ногой, и кресло стало опускаться вниз.

То, что произошло потом, Храповицкий и по сей день не мог вспомнить без стыда. Где-то внизу, под полом, сильные руки стащили с него нижнюю часть туалета. Тело пронзила острая боль. Он вздрогнул и по забытому детскому ощущению понял, что ударили розгой. От боли, бессилья, унижения у него брызнули слезы, он что-то кричал, ругался, гро-

зил, а Шешковский был поглощен созерцанием своих картинок и делал вид, что ничего не слышит. Наконец истязание закончилось, и кресло водворилось на прежнее место. Храповицкий намеревался было броситься на обидчика с кулаками, но тут в комнату вошел здоровенный, свирепого вида пес и спокойно улегся у ног хозяина. Поневоле пришлось сдержаться и спешно покинуть дом.

– Куда же вы, сударь? – бросил вдогонку Шешковский. – Я еще не показал всех картин. Ах, спешите... Ну, не задерживаю, только пуговичку подберите.

Храповицкий не помнил, как очутился на улице. Он был вне себя от ярости и острого желания отомстить. Однако зрелое размышление охладило первоначальный пыл. Обнародование постыдного наказания грозило превратить его в общее посмешище и закрыло бы путь в приличные дома. Жаловаться императрице тоже не имело смысла. Та была известна своей любовью к животным и, узнав о причине наказания, вполне могла посчитать его достойным преступления. Пришлось затаиться и ждать удобного случая, который до сих пор так и не представился. Шешковский был расчетлив и осторожен. По-видимому, он неоднократно прибегал к подобному наказанию, умножая число позорных жертв, хотя в явном виде пока никто из них еще не объявлялся. Просто ходили слухи, упорно ходили...

Это происшествие с особенной отчетливостью вспомнилось сегодня. Храповицкий невольно испугался, когда госу-

дарыня остановила на нем взгляд, намереваясь подвергнуть испытанию стариковского здравомера. У него образовалась устойчивая неприязнь к такого рода аппаратусам. Но, слава богу, пронесло. Интересно, до каких же пор суждено ему носить этот страх и быть неотомщенным?

Обязанности секретаря императрицы не позволяли ему выказывать истинного отношения к приглашенным. Шешковский воспринял его поклон как должное и уверенно прошел в кабинет. Это был румяный крепыш с седой истончившейся проседью вокруг розового темечка. Его круглое лицо почти не имело морщин, а черты так примялись временем, что казались нарисованными на надутом шарике. Он поклонился и произнес неизменное приветствие:

– Здрава будь, царица земная, защити тебя царица небесная!

Таким вступлением начинался всякий доклад, который Шешковский именовал «Извещением о злокозненных деяниях и умыслениях, споспешествующих нанесению вреда монаршему правлению». Форма его вполне соответствовала напыщенности названия, но императрица не считала нужным изменять стиль доклада. Ее забавляло умение Шешковского усматривать вред в совершенно невинных вещах: например, в «говорящей стене» кадетского корпуса, на которой для лучшего запоминания кадетами писались пословицы и разные мудрости, или в концертах роговой музыки, сотрясавшей окрестности усадьбы Нарышкиных. Любая зло-

козненность, по убеждению Шешковского, была не одиночным актом, а непременно явлением и требовала не простого ответа, а целой войны или хотя бы похода. Императрица намеренно не сужала круг его интересов, предпочитая извлекать рациональные зерна самолично.

Сегодня Шешковский удумал развернуть кампанию против болтунов, к коим причислялись все невоздержанные на язык лица. Сначала он намеревался порассуждать о том, сколь пагубно для нации брожение умов, вызываемое вольными рассуждениями (пример несчастной Франции у всех на виду), потом хотел сослаться на отечественный опыт (тут следовало рассказать об уличных толках и светских сплетнях), а под конец выходило вполне уместным попросить денег на поощрение лиц, способствующих выявлению обладателей длинных языков. Незначительность повода для обращения за вспомоществованием несколько не смущала Шешковского. Он использовал любую возможность, чтобы обратить внимание на свою службу и повысить ее до сих пор не определенный статус хотя бы до уровня прежних заведений.

Однако государыня сразу же нарушила намеченную последовательность доклада.

– Я прекрасно знаю, о чем вы намереваетесь говорить, – сказала она, – речь ведь пойдет о казачьем генерале?

– Точно так-с, – ответил растерявшийся Шешковский, – хотя...

– Тогда не будем напрасно тратить время, – Екатерина

решительно вклинилась в образовавшуюся паузу, исключив возможность дальнейших пояснений. – Я уже видела виновника, он в полном раскаянии и молит о прощении. Пришлось простить и пригласить отобедать, потому позвольте ему не являться на ваш борщ.

Шешковскому ничего не оставалось, как развести руками и поклониться. Увидев такой скорый исход своего дела, генерал не смог сдержать ликования, он выскочил из-за ширмы и, направив в сторону Шешковского кукиш, воскликнул:

– А, что, взял?!

Вид бравого вояки, сиявшего неподдельным ребячьим восторгом, так развеселил императрицу, что она не в силах была сказать приличные случаю слова и лишь жестом показала Храповицкому, что седого шалуна следует удалить прочь. Возвращению к делу помог вид удрученного Шешковского.

– Не сердитесь, Степан Иванович, – мягко сказала императрица, – я ценю ваше усердие, но мое положение предписывает быть милостивой там, где закон изъясляет строгость.

– Закон? – воскликнул Шешковский, обрадовавшийся случаю повернуть разговор в нужном направлении. – Я не знаю закона, дающего регламент моим действиям. Они суть самонадзорны есть.

– Чем же вам не по нраву такая самонадзорность?

– Премного облагодетельствованный доверием вашего величества, одначе гложусь угрызениями всякий раз, когда

принужден по любой малости обращаться за высочайшим соизволением или испрашивать деньги на осуществление необходимой сущности. В прежние времена, когда Тайная канцелярия...

Екатерина перебила его:

– Времена Тайной канцелярии прошли и более не вернутся. Довольно сих ужасных заведений, коими пугали малолетних детей.

Шешковский чуть помолчал и вкрадчиво продолжил:

– Детишкам завсегда острастка нужна, и тако же разным смутьянам. Потому есть необходимость в непрерывном бдении и строгом остережении покусителей на монаршие деяния. Их, ваше величество, по одному не словить, с ними, как с тараканами, следует воевать – не за каждым гоняться, а всю братию зараз выморозить. Но для того большая сила нужна и особое уложение. И смета особая, постоянная. А название, что ж, его изменить легко: не канцелярия, так экспедиция, не экспедиция, так комиссия. И тайн никаких больше не надо. Скажем, Комиссия непрерывного бдения – кто устрашится. Для большей безобидности можно вообще одне начальные буквы оставить – КББ...

– Нашему народу противны подобные аббревиации, как, впрочем, и то, что они означают. Нет, я не желаю переменять заведенный порядок и расширять ваши полномочия. Государство, где торжествует надзор и суровая кара, недостойно уважения других народов. Предпочитаю, чтобы о делах тако-

го рода более говорилось, чем они бы имели место в действительности. Для остережения обывателей этого вполне достаточно.

Она немного помолчала, раздумывая, как бы по деликатнее проверить то, чего так боялся бравый казацкий генерал, и сказала:

– Ваше чрезмерное усилие в этом направлении порождает ненужные толки. Говорят, у вас в доме творятся ужасные вещи...

– Врут! – воскликнул Шешковский и слегка покраснел. – Проявляют злостное покусительство на верного слугу престола. Как смею? Случается, приглашаю злоумышленников для отеческого наставления, но не более того. Да и какие у меня полномочия? Двадцать лет в одном чине пребываю-с.

Екатерина решила все обратить в шутку и посочувствовала:

– Мне ваша досада вполне понятна, ибо я в одном чине пребываю побольше вашего. Однако ежели это вас так заботит...

О, старик был не так прост. Другой бы пал на колени и залопотал от счастья, а Шешковский нет, махнул рукой и с притворным равнодушием сказал:

– Бог с ним, с чином, это я к слову. У таких, как я, один чин – быть верным псом вашего величества. Правда, положение верных псов разное: перед одними шляпы снимают, в других камни швыряют. И как не швырнуть, когда я един-

ственный обер-секретарь и в какой ряд меня поставить, никто не знает.

– Вижу, что вы все-таки озабочены своим положением. Делу сему мы поможем и ряд для вас сыщем. Будете отныне называться министром, согласны?

А вот теперь Шешковскому выдержки не хватило, ноги сами собой подогнулись и глаза увлажнились.

– Достоин ли я сей милости по трудам своим? – прошептал он.

– Достоин, достоин. Адам Васильевич, подготовьте указ.

Тут даже осторожный Храповицкий не мог остаться в стороне и напомнил: ваше величество только что распорядились назначать на подобные должности не иначе как после проверки здоровья кандидатов. Но Екатерина проявила настойчивость: так давайте сразу проверим – и послала за мастером.

– Вы как себя чувствуете, Степан Иванович?

– Отменно-с, – отвечивал тот.

– В таком случае для вас не составит труда выдержать наше испытание. – Она подождала появления мастера Якова и приказала: – Сударь, в вашем аппаратуре появилась новая нужда. Проверьте его превосходительство на предмет годности к министерской должности. Что вы мнетесь? Какие трудности?

Тот набрался смелости и пояснил:

– Наш здравомер, извольте видеть, на разные членодви-

жения рассчитан и на разные должности: на фельдмаршала, обер-полицейского, даже на генерал-прокурора, а министр – это особая статья, тут не руками махать, а мозгой надо шевелить. Недаром говорят: министерская голова, – для нее другой настрой нужен.

– И много ли понадобится времени?

– Месяца должно хватить.

Шешковскому, однако, очень хотелось стать министром, и он решительно заявил:

– Врет, бестия. Я, ваше величество, его давно знаю: мастер хороший, однако цену любит набивать. В два дня управится.

Тот попробовал было воспротивиться:

– Что вы, ваше превосходительство, в два дня никак не можно.

– Можно, я покажу тебе как...

– Ну не спорьте! – прекратила полемику Екатерина. – Как будет готово, тогда и проверим.

Она отпустила стариков. Храповицкий не скрывал недовольного вида, и Екатерина поинтересовалась причиной.

– Вы слишком высоко оценили заслуги своего верного пса, – ответил тот, – боюсь, что теперь он начнет кусать всех без разбора.

– И вы верите всем этим разговорам?

– Не верил бы, кабы в молодости сам не пострадал. От него ни одному молодому человеку прохода нет, можете у кадета спросить, – и кивнул на ширму.

Екатерина всполошилась:

– Боже мой, я о нем совершенно забыла. Господин поручик, идите сюда. Вы все слышали?

Нащокин выбрался из своего заточения, которое вовсе не утомило его. Он был бодр и радостно воскликнул:

– Слышал все, но услышал только то, что свидетельствует о мудрости и добросердечии вашего величества.

Ответ пришелся по вкусу, императрица милостиво проговорила:

– Вы делаете слишком большую апологию моим качествам, но на добром слове спасибо. Сослужите-ка мне службу, найдите способ посетить господина Шешковского и получить от него отеческое наставление, о чем мне после лично доложите. Только никому ни слова, пусть это будет нашей маленькой тайной. – Она протянула руку для поцелуя и, когда тот удалился, воскликнула: – Какой ловкий юноша! Надеюсь, он благополучно разрешит наш спор.

– Если вернется целым и невредимым, – буркнул Храповицкий.

Екатерина возмутилась:

– Адам Васильевич, вы совершенно невозможны! Будьте снисходительны, Шешковский вам в отцы годится.

– В деда, ваше величество.

– Тем более. Вам бы давно сказать, я бы приняла меры. Всегда есть средство успокоить мужчину, когда он проявляет агрессию.

– Боюсь, что Шешковский для этого средства староват.

– Вы плохо знаете мужчин. Они во все годы склоняются к женской ласке и умиротворяются через нее. Шешковский ведь давно вдовствует?

– Как себя помню.

– Вот видите, очерствел душой. Мы его, пожалуй, женим на какой-нибудь девице, заодно ее пристроим – жених не беден.

– Девицу сыскать легко, а старик может заупрямиться, в его годы трудно менять привычки.

– Пустяки, я уговорю. Я это умею и сосватала уже не одну пару.

Екатерина задумалась. Если говорить об умиротворении, то женитьба может и в самом деле оказаться подходящим средством. Она это хорошо знала и потому любила устраивать судьбы людей из своего ближайшего окружения. Сколько счастливых браков состоялось с ее легкой руки! Случалось, разумеется, и по-другому, но тут уж не ее вина. Она давала верный начальный толчок, а если семейный возок уводило в сторону, то винить следовало седоков. Правда, в последнее время ей приходилось исполнять роль не свахи, а доброй бабушки, чем не прочь были злоупотребить некоторые хитрецы. Нынешний воспитанник Эстергази был бы славным мальчонкой, кабы постоянно не плакался о бедности своих родителей. Он явно фальшивит, напевая с чужого голоса, и издает естественные звуки лишь когда пукает.

Слава богу, таких не очень много.

Она знает довольно скромных и милых девиц, способных окружить старика заботой и лаской. Что еще нужно человеку на склоне лет? Вот хотя бы Аннушка Веселова. Сиротка имеет весьма скромный достаток и могла бы прилично устроить свою жизнь. Шешковский должен удовольствоваться малым приданым, ибо получит добрую супругу с золотым характером. Остается только уговорить его. Но ничего, она это умеет. Главное – возбудить в нем охоту к семейной жизни и навести на нужное решение.

Строго и по-деловому она распорядилась:

– Адам Васильевич, пусть наш жених будет завтра на балу у Безбородки. И велите прислать ко мне Анну Веселову.

Привыкший ко всему Храповицкий не удержался от досадного возгласа. Надо же так повернуть дело, чтобы мерзкий старик вместо наказания получил награду. И это с его собственной подачи! К несчастью, мысль о женитьбе так прочно овладела государыней, что для освобождения от нее понадобится время и особое ухищрение. С таким горьким для себя выводом отправился Храповицкий выполнять полученное распоряжение.

Аннушка Веселова была дочерью придворной портнихи, пользовавшейся большим расположением императрицы. Екатерина подчеркивала дружеские отношения с простолюдинкой, заставляла обращаться к себе на «ты», а семнадцать лет назад, облачившись в акушерский фартук, собственно-

ручно помогла появлению на свет прелестной малютки. С тех пор государыня проявляла к девочке особое внимание и со смертью матери приблизила ее к себе. Положение Аннушки было неопределенно, но, судя по высочайшему вниманию, весьма завидно.

Девушка имела добрый нрав, всякая живность относилась к ней с удивительным доверием: поднимали хвосты и спешили прильнуть пугливые кошки, скалились в улыбке свирепые псы, безбоязненно слетались к руке веселые синички, даже деловито шныряющие мыши не спешили прятаться в норки, а спокойно поблескивали черными бусинками глаз. И люди, как бы ни хотели, не могли обидеть ее. Это был чистый лесной родник, замутить который не поднималась рука даже у самого худого человека.

Екатерина в полной мере испытывала очищающее действие этого родника и часто предпочитала общество скромной девушки многим высокородным особам. Она любила слушать в ее чтении модные романы – Аннушка так искренне переживала судьбу героев, что поневоле заставляла увлекаться слушательницу. У нее оказался несомненный сценический талант, и Екатерина с удовольствием занимала девушку в своих пьесах. С ней было интересно судачить и на житейские темы. Никто не умел так сгладить чужую вину, объяснить дурной поступок и увидеть светлую искорку в заведомо темном деле. Понятно, сколь ценен был такой лучик в дворцовой атмосфере угодничества и интриг, как желан-

ны были искренние похвалы деяниям императрицы, произнесенные чистыми устами. Немудрено, что она часто приглашала Аннушку для доверительных бесед.

С недавних пор ее стала заботить дальнейшая судьба любимицы. Низкое происхождение исключало возможность достойного брака, а видеть Аннушку замужем за каким-нибудь писаришкой императрице не хотелось. К тому же щедрое приданое, на которое она бы не поскупилась, могло привлечь многих охотников до чужого добра. Мысль о соединении с богатым стариком показалась Екатерине привлекательной. Аннушка сразу же вспрыгивала на высокую общественную ступень, и через несколько лет, на которые природа продлит жизнь старика, девушка будет иметь прекрасную возможность распорядиться собственной судьбой. Ну а то, что у Аннушки могли быть на этот счет свои намерения, Екатерину ничуть не заботило. Она пребывала на такой высоте, где понимались только собственные чувства, все же остальное рассматривалось с точки зрения целесообразности.

– Подойди ближе, дитя мое, – ласково проговорила императрица в ответ на церемонный реверанс Аннушки. – Что это ты раскраснелась, или румян переложила?

– Упаси Господь, я их не пользую. Просто очень спешила к вашему величеству.

Государыня усмехнулась:

– А мое величество так давно ушло из девичества, что приходится краситься. Иначе кто глянет на старуху?

Аннушку вовсе жаром окатило.

– Полно на себя наговаривать. У вас кожа да зубки – девушкам на зависть. О стати же и говорить не надо.

– Не надо, коли глаза есть, тем паче им теперь вон какой снаряд помогает, – Екатерина указала на очки. – У тебя сердечко доброе, всем усладить готово, токмо в уславе сей своя горечь. Возьми-ка лучше книжицу, ту, в синем сафьяне, да почитай с закладки.

Закладка открывала пьесу, которая не так давно представлялась в дворцовом театре. Называлась пьеса «Преданная любовь». В ней говорилось, как выданная за старца девушка стойко противостояла обольщению молодого офицера Повецова и сохранила супружескую верность. Аннушка хорошо помнила свою роль и читала, почти не заглядывая в книжку. Скоро она полностью вошла в образ и заключительный, обращенный к мужу монолог произнесла со слезами на глазах:

Что мне сиянье солнца, шелест трав,
Мерцанье звезд и листьев трепетанье,
Когда из сердца твоего уйдет благоволенье
И добрый свет изымется из глаз?
Да пусть покроется все вечным мраком ночи,
Когда любить меня ты более не счочешь!

Екатерина отерла глаза платочком и задумчиво проговорила:

– Сколь удивительна такая жертвенность в молодой де-

вушке. Жаль, что она проявляется только в пьесах.

– Но это не так! – горячо воскликнула Аннушка, которая, должно быть, единственная во дворце осмеливалась возражать императрице столь откровенным образом. – Я бы себя нисколько не пожалела, кабы маменьку возвратить или вашему величеству какое угождение сделать.

– Маменька – другое дело. А ты представь себе статного молодого красавца...

Аннушке тотчас же привиделся кадет Павлуша, с которым пришлось играть в пьесах, его горящие глаза и прикосновения, от чего брала оторопь и бросало в дрожь. Она с усилием прогнала наваждение и обратилась к словам императрицы.

...и какого-нибудь старика, тянущего к тебе костлявые руки. Просто ли не прельститься? – закончила мысль Екатерина.

Аннушка подумала и сказала:

– Ежели старик богом отдан, то что тут говорить? Сей крест нести надобно и об ином не помышлять.

Екатерина притянула ее к себе.

– Я в твои годы была не столь тверда. Впрочем, это ведь токмо слова, никто не знает, как на самом деле повернется.

– Я знаю, – тихо, но твердо проговорила Аннушка.

– Посмотрим, – загадочно сказала императрица и попросила напомнить о тех, кто играл с нею в пьесе.

– Иван Афанасьевич Дмитриевский и Павлуша Нащокин из кадетского корпуса... – произнося последние слова, де-

вушка запнулась и заметно покраснела.

Екатерина, конечно, заметила это смущение и прибавила:

– Твой кадет нынче произведен в офицеры. Надеюсь, что сие добавит ему искренности на завтрашнем представлении.

– Как?! – охнула Аннушка.

– Да, да... Завтра на публике вы дадите несколько сцен из читанной пьесы. Но к тебе, дитя мое, особая просьба: постарайся сыграть так естественно, чтобы рыдала не менее половины залы, а все старики наши более не сомневались в молодых женах.

Государыня смотрела по-прежнему ласково, но сердце девушки внезапно сжалось от недоброго предчувствия, и ей пришлось сделать особенно низкий поклон, чтобы скрыть испуганное лицо.

Дом Александра Андреевича Безбородко находился неподалеку от Исаакиевской площади и был в ту пору едва ли не самым знаменитым в Петербурге. Он удивлял уже с самого входа, где высились четыре гранитные колонны такой невозможной гладкости, что отражали свет, подобно наилучшему венецианскому стеклу. Но главные чудеса таились, конечно, внутри. Хозяин слыл за просвещенного человека, охочего до разных редкостей, и не жалел на них денег. Картинная галерея из собраний герцога Орлеанского и польских королей, мебель знаменитых европейских дворцов, коллекция китайского фарфора и золотой посуды, древнегреческие статуи и

работы из мрамора известных итальянских мастеров, роскошное убранство комнат – все поражало самое причудливое воображение.

Хозяин был щедр и радушен. Богатств своих не таил, диковины выставлял наружу, кормил гостей с тарелок знаменитых севрских сервизов, строил для них двухметровые горки из золотых и серебряных сосудов, одевал слуг в причудливые костюмы, специально купленные в дальних землях. Во время своих знаменитых маскарадов проявлял много выдумки и сам проказил, как мальчишка. Однажды, нарядившись пастухом, провел по парадным залам стадо гусей, бесцеремонно тянувших шеи под дамские платья, другой раз изобразил себя персидским шахом, окруженным полуголыми красавицами. Уверяли, что такие представления выходят у него очень натурально, и злые острословы вкладывали в это вполне определенный смысл, ибо граф когда-то действительно пас гусей в родной станице, а позже на своей даче в Полюстрове содержал настоящий крепостной гарем.

На маскарадные балы в ожидании его очередных чудачеств съезжалось много гостей. Ныне, из-за слухов о приезде государыни, их число было особенно велико. Хозяин любезно встречал прибывающих на верхней площадке широкой мраморной лестницы под портретом императрицы, недавно собственноручно скопированным Левицким со своей ранней работы. Он был одет в костюм испанского гранда. В глаза бросались алмазные застёжки и отменное золотое шитьё

широкого кафтана, удачно скрывающего добреющую графскую плоть, а потом уж замечались небрежно надетые чулки со складками и расстегнутые башмаки, должно быть, стеснявшие ему ноги. Рядом стоял наряженный шутом Храповицкий. Гранд говорил приличные слова, шут звенел бубенчиками на колпаке и говорил шутки, иногда довольно соленные. Приятели любили повеселиться.

Большинство гостей прибывало в своих костюмах и представлялось сообразно избранному наряду. Их сразу же отправляли к закусочным столам. Прочие препровождались в обширную костюмерную для переодевания. Удобная позиция позволяла хозяину наблюдать за вновь прибывающими и теми, кто занимался предварительной разминкой. Среди них его внимание давно уже привлекал прогуливавшийся между столами Шешковский, чей вид никого не вводил в заблуждение – с его приближением замолкали разговоры даже самого невинного содержания, и гости расходились. Так при грозящей опасности разлетаются с поклевки весело чирикающие воробьи. Наконец граф не выдержал и велел доставить к себе Шешковского. На вопрос, отчего тот не в костюме, Шешковский повел глазами и прошептал, что долг службы, по которому он здесь находится, не позволяет надевать на себя потешные личины.

– Так вы, дядько, чи с глузду зыхалы? Я вас на службу до сэбэ нэ приймав. – Безбородко всегда так: коли замечал, что собеседник важничает, тут же переходил на малороссийский

говор.

Шешковский совсем закатил глаза и прошелестел одними губами, что пришел по личному приглашению императрицы.

– Ничого нэ разумию! – изобразил граф полную озадаченность и повернулся к приятелю.

– Чего тут не понимать? Дядьку пригласили в чужие гости, – объяснил тот.

– Как же ему быть?

– Как ведут себя на чужом пиру.

– А-а! – догадался граф и хлопнул в ладоши. Тотчас же явился большой кубок. – Вот вам, сударь, штраф за нарушение порядка.

Шешковский стал было отнекиваться и опять ссылаться на важное государственное дело.

– Пий, бисов дид! – вышел из себя Безбородко и так топнул ногой, что на чулке появились новые складки.

– Вы, ваше сиятельство, его звиняйте, – заступился Храповицкий, наблюдая, как Шешковский цедит из кубка, – он в гишпанском не шибко силен.

Убедившись, что вино выпито, граф приказал отвести гостя в костюмерную и помочь подобрать приличный наряд. Храповицкий соорудил уморительную рожу и потянул за собой враз захмелевшего старика. В костюмерной он резвился как дитя, ничем не напоминая ловкого царедворца, перебирал наряды и рассуждал вслух:

– Сия одежда палача нам не подходит, зане ваша нынеш-

няя ничуть не хуже. И сей наряд дона Хуана, прелестника многих женщин, вам славы не добавит...

Старик, не вникая в смысл, согласно клонил голову. Только когда Храповицкий забраковал одежду римского гладиатора по причине, что не след выставлять напоказ старые подагрические ноги, он попытался возразить. Правда, не очень вразумительно. Наконец выбор остановился на костюме древнеримского поэта. Наряд состоял из белоснежной тоги, золоченой лиры и лаврового венка.

– Это очень удачный наряд, – говорил Храповицкий, суетясь вокруг Шешковского, – он чрево несытное ваше в складках глубоких припрячет, зеленью листьев лавровых плешку седую прикроет. Надобно лишь подбирать длинные полы одежды, дабы на них не ступити и не удариться оземь... Чувствуете, что глядя на ваш наряд, всяк становится пиитом. Жаль, что вам самому это свойство недоступно.

Шешковский не на шутку обиделся. Он уже начал оправляться от первого хмельного удара и обрел способность говорить.

– Ты – дурак! Тебя не было на свете, а я уже Тредь-як... як... ковскому свои вирши читывал. Я – ему, он – мне...

Храповицкий подпрыгнул от радости и потащил русского Овидия к Безбородко.

– Смею представить пиита нашего бала, гордым обличьем он римским собратам подобный, а изнутри – точный Тредь-як... яковский.

– Ваше сиятельство, явите милость отогнать от меня своего болтливового дурака, – попросил Шешковский, – тако бо сладость будет обречена, не токмо сердце, но душа спасена.

– Чашу ему! – восторженно крикнул Безбородко и бросился обнимать старика. Тот что-то растроганно бормотал в графских объятиях, а когда страсти утихли, смиренно попросил уволить его от питья по причине нездоровья.

– Будь по-вашему, – неожиданно быстро согласился Безбородко, – но в ответ вы должны сочинить оду нашему балу, каковую затем прочесть в присутствии гостей и государыни.

Шешковский поклонился и выдал неожиданный экспромт:

Чтоб просьбу выполнить, придется с кожи лезть —
Не можно спеть о всем, что тута знатно есть...

– Тогда скажи, но так, чтоб можно произнести, – тут же высунулся Храповицкий.

Граф поддержал:

– Вы уж потщитесь поскладнее, не то государыня осердится.

Приятели весело переглянулись: Шешковского удалось отстранить от исполнения обязанностей его зловредной службы, и теперь участники бала могли вести себя вполне естественно.

Тем временем в одной из дальних комнат огромного дома

шли репетиции назначенных к представлению сцен. Дмитриевский, статный старик благородной внешности, сидел в кресле и наблюдал за молодыми партнерами. Игралась сцена обольщения. Нащокин в новеньком офицерском мундире, удачно пригодившемся для театрального костюма, с необыкновенным пылом произносил свой монолог:

О, свет очей, сердечная отрада!
Когда я зрю, как ты проходишь мимо,
Касаясь лебединою рукой
Корявой, дряхлой старческой десницы,
То можно ль видеть большее кощунство?
Ведь это все одно, что юну розу
Поставить в старый, битый черепок,
Что гибкую лозу заставить виться
Между замшелых каменных руин.
Живому разуму, основам мироздания
Противуречит эта несовместность!

На щеках Аннушки полыхал румянец и приметно вздымалась грудь, когда она обрывала домогательства:

Под вашим языком лежит аспиден яд,
Мне невозможно слушать эти речи,
Союз согласный или несовместность —
На все на свете божье изволение,
Не в наших силах изменить его!

Дмитревский с неожиданным проворством поднялся из кресла, превратившись в статного, нестарого человека, и заговорил звучным голосом:

– Поменьше пыла, юные друзья! Этак можно до срока выпустить весь пар. Вы, сударь, слишком благородны, что не соответствует отзыву о вас этой особы, помните? «Болван, напудрен, распещрен, болтал не знаю что, жеманился, кривлялся». Надобно оправдывать такие слова. А ты, душа моя, чересчур волнительна, ровно девка на выданье. Полыхаешь маковым цветом, глазенками сверкаешь. Кто поверит, что ты его сейчас отвергнешь? Помните о представляемых лицах и не переносите на них собственную страсть.

Аннушка вовсе вспыхнула огнем, а за ней загорелся и Нащокин. Не обращая внимания на их смущение, Дмитревский по-стариковски заперхал и с трудом опустился в кресло. Он как бы показывал молодым артистам свои удивительные превращения, но его советов хватило не надолго. Поблуждав окольными тропинками, они снова вышли на привычную стезю и дали волю темпераменту. К счастью, наставник более не вмешивался, ибо погрузился в сон. Нащокин поначалу косился на него осторожным взглядом, но, видя, как тот подергивается и всхлипывает запавшим ртом, совсем перестал стесняться.

– Милая Аннушка, нет сил более таиться! Денно и ночью пребываю в помышлении о тебе, потому как люблю до глубины сердца. Ответ наконец, могу ли я надеяться?

Девушка потупила взор, голос ее дрогнул.

– Как вы можете, Павел Васильевич, над сиротою смеяться-ся? Думаете, коли некому заступиться...

– Ты люба мне с первого взгляда, но до сих пор я не мог объясниться по стесненности своего состояния. Теперь, с производством в офицеры, предлагаю тебе законным образом руку и сердце. Ужели есть в том насмешка, можно ли так говорить?

– Но что-то ведь нужно сказать, – еще тише прошептала Аннушка, – не след же мне сразу пасть в твои объятия.

Нащокин в радостном порыве бросился к девушке, и она доверчиво склонила голову ему на грудь.

– Отсебятину несете, – закричал Дмитревский из своего кресла, – в пиесе нет такой сцены.

Аннушка подбежала и поцеловала его.

– Иван Афанасьевич, миленький, ведь вы мне как батюшка. Я так счастлива! Мне до сей поры только на сцене лебезили, а по-настоящему – первый раз. Что говорить и как повести, не знаю. Научите, миленький.

Старый артист ласково потрепал ее по щеке и вздохнул.

– Эх, голубушка! Старику ли наставлять, когда вы все так безыскусно разыграли? Тут и мне поучиться не грех, кабы времечко не ушло. А совет один: не терзайтесь сомнениями, не тушите в себе пожар. Молодость – божественный дар, праздник жизни – на то и дана, чтобы любить. Не приносите в жертву своей любви унылые рассуждения и холодные рас-

четы. Слушайте токмо музыку согласных сердец, зрите токмо огонь пылающих душ!

Тихо начав свою речь, Дмитревский все более воодушевлялся, крепнул голосом и под конец превратился в пылко-молодого человека. Нет, он не красовался и не играл на публику, просто лицедейство сделалось его второй (а может быть, первой) натурой, пригодной для всякого случая. Окончив монолог, он почти мгновенно вернулся в исходное состояние и вполне по-стариковски пробурчал, что сейчас не след взвинчивать себя посторонними сценами.

Императрица приехала к самому концу ужина не без умысла: вечерами она привыкла обходиться стаканом простой воды и томиться за обильным столом не желала. Чтобы не нарушать шумного застолья, она захотела познакомиться с последними приобретениями хозяина и была препровождена в парадную графскую спальню, украшенную картинами Верне. Екатерина слабо разбиралась в живописи, но считала, что положение обязывает ее не только проявлять интерес, но и по примеру просвещенных европейских монархов создавать собственные коллекции. Точно так же обстояло дело и с музыкой. Здесь наивысшим достижением, по ее собственному признанию, было умение различать соло каждой из девяти дворцовых собак, выступающих в общем хоре. Однако те же соображения заставляли ее присутствовать на утомительных музыкальных концертах. Там она предавалась собственным размышлениям, а чтобы не попасть впросак,

наказала Платону Зубову подавать знак к началу аплодисментов. К счастью, влияние фаворита этим ограничилось и на художнические вкусы императрицы не распространялись, ибо наилучшей картиной тот считал золотой империял с ее профилем.

Екатерина осталась довольно равнодушной к морским пейзажам художника и заинтересовалась лишь одной картиной, изображавшей развалины в устье реки. Она призналась графу, что подобные виды будят фантазию, заставляют воображать, какие величественные замки высились ранее на месте показанных руин, и тут же получила картину в подарок. Затем любезный хозяин пригласил высокую гостью в картинную галерею. Благодаря цепкой памяти и живому языку, он оказался хорошим гидом, хотя и несколько утомительным в подробностях. Желая окончить экскурсию, Екатерина выразила желание посмотреть на гостей и особенно на Шешковского. Однако того, на удивление, долго не могли сыскать. Виденный многими в начале ужина, он потом как сквозь землю провалился. «Но не съеден же он», – изволила пошутить императрица.

– Съеден! – радостно воскликнул невесть откуда взявшийся Храповицкий. – Вернее, поглощен.

– Кем же?

– Седьмой музой, матушка.

– Это...

– Совершенно верно, Полигимнией – оду для нашего бала

сочиняет.

Императрица улыбнулась, в этом виде искусства она чувствовала себя наиболее уверенно. Наконец Шешковского отыскали в каких-то глухих покоях. Его наряд и отрешенно задумчивый вид произвели должное впечатление. С трудом сохраняя серьезность, императрица выразила радость по случаю рождения нового поэта и захотела ознакомиться с его сочинением. Шешковский растерянно пробормотал, что за малостью времени еще не сподобился создать нечто, достойное высочайшего внимания.

– Не бойтесь, сударь, – успокоила Екатерина, – мы не намерены мешать вашей музе, но, может быть, имея кое-какой опыт в сочинительстве, будем полезны советами. Поделитесь своими замыслениями.

Шешковский наморщил лоб, зашевелил губами – чувствовалось, что в голове его происходит напряженная работа мысли, потом стал старательно прочищать горло. Екатерина подозвала лакея с подносом и указала на бокал с вином:

– Выпейте, Степан Иванович, это придаст звучность вашему голосу.

Тот, не смея ослушаться, схватил и единым махом осушил бокал. Лицо его тотчас же залоснилось, листочки лаврового венка прилипли к лбу.

– Я, ваше величество, – исподволь начал он, – хотел бы восславить мудрость венценосной орлицы, от коей благоденствие и милость разным племенам проистекают. Воззрите,

сколь их вокруг, довольных и счастливых...

– Это мило с вашей стороны, но где же обещанная ода?

– Здесь, – Шешковский вынул из складок тоги листок бумаги, отставил его на всю вытянутую руку. Храповицкий громко ударил в бубен и радостно подпрыгнул, как это делают дети в ожидании потехи. Смерив его презрительным взглядом, старик сделал округлый жест и возопил:

Се новый Вавилон! Мелькают разны лица
И речи говорят на многие языцы,
Однако ж за столом все дружно восседают...

– И под столом согласно тоже проявляют, – высунулся из-под его руки Храповицкий.

– Прочь, дурак, – рассердился Шешковский, – не то я поколочу тебя.

– Успокойтесь, сударь, – вмешалась Екатерина, – на дураков, как известно, не обижаются. Тем паче что ваш стих получается неприлично серьезным. Вспомните, что у нас веселый маскарад, да еще извольте учесть, что кроме венценосной орлицы здесь довольно иных птичек.

Шешковский, трудно усваивающий шуточный тон, напыщенно произнес:

– Я, ваше величество, не тщусь на ихнее созерцание, поелику един помысел о государственной пользе имею.

– Одно другому не мешает. Кстати, отчего вы до сей поры не женаты? Ведь у нас принято одиночествовать только

монахам...

– Еще дуракам и вольнодумцам, – высунулся Храповицкий.

С дураками еще куда ни шло, но последнего слова Шешковский стерпеть не мог и чуть не запустил в наглого шута лирой. Екатерина напомнила:

– Я жду ответа на свой вопрос: долго ли намерены вдовствовать?

Шешковский приметно покраснел и пробормотал:

– Мне по возрасту не пристало...

– Это совершенная ерунда! На нашей службе не выставляются границы для возраста, токмо требуется телесная крепость. Конечно, ежели вы не в силах жить семьею...

– Я в силах, ваше величество, – встрепенулся Шешковский, – да кто польстится на старика?

– Как кто? Их сколь угодно, почитающих за честь связать с вами судьбу. Лично я хорошо знаю одну из них. Впрочем, давайте сначала посмотрим спектаклю. Граф, распорядитесь!

Безбородко дал сигнал к началу представления.

Заиграла музыка, и выпорхнувшая на подмостки Аннушка запела чистеньким голоском о том, как хорошо и спокойно живется птичке в ветвях тенистого дуба. Трогательный девичий голосок постепенно заглушил шум зала и заставил уgomониться даже самых непоседливых зрителей. Вышедший вслед Нащокин запел о пленительных дальних странах и радости совместного полета в заоблачные выси. За пе-

нием игралась сцена оболъщения. Юные артисты держались превосходно и быстро завоевали общие симпатии. Екатерина с интересом наблюдала за покрасневшим от удовольствия Шешковским. Однако вскоре благостное выражение на его лице стало уступать место угрюмой озабоченности.

О, как знакомы были ему эти наглецы, вертоплясы, прожигающие жизни, проматывающие отцовские имения, оскверняющие чужих жен... Не такая ли участь обманутого мужа ожидает и его на старости лет? Стать всеобщим посмешищем, рогоносцем, героем язвительных стишков – достойна ли его беспорочная жизнь такого окончания? А многочисленные родственники, которых всегда тянут за собой жены? Можно сойти с ума от одного представления о том, как они рыщут по некогда тихому дому и со злобой пинают любимых собачек. Нет, этому не бывать! Лучше отставка, лучше монарший гнев...

Он взглянул на профиль государыни: высокий лоб, прямой нос, тяжелый подбородок, мясистая шея – все знакомо. Только вот глаза, которые сейчас искрятся, а в гневе мечут страшные молнии. Коли в тебя попадут, зашибут до смерти. А попасть точно попадут, если посмеешь ослушаться. Его решимости сразу поубавилось.

В это время Аннушка повела сцену со своим старым мужем, и мысли Шешковского приняли другое направление: «Великая отрадность есть пребывать в счастливом единении душ. Сколь приятственнее старому человеку повсечасную за-

боту иметь, не за плату, но по единственно душевному изъяснению. Стол повкуснее да место потеплее – много ли надо? Ежели ко времени и без понукания, получится близко в отношении райской жизни. Вишь, как резвится ласточка весенняя, легка, проворна, голосок кудрявенький – тюить, тюить, тью... Можно совсем выйти из себя от удовольствия!» Он даже заерзал в кресле от такой счастливой возможности.

Но вот пришел час для заключительной сцены, когда верная жена устраивает ловушку надоедливому ухажеру и тот оказывается в объятиях дворовой скотницы Матрены. Почтенные зрители, составлявшие половину зала, довольно смеялись и плескали в ладоши, Шешковский был едва ли не самым усердным из них. Представление кончилось тем, что добродетельная супруга, склонившись на грудь благородного старца, поклялась в своей вечной преданности.

Государыня, оставшись довольной игрой артистов, приказала привести их к себе. И, между прочим, поинтересовалась мнением Шешковского. Тот силился сказать нечто значительное, но мысли смешались, вертелась только одна строчка из любимого Тредьяковского, которая и была выдана:

– Мыслить умом есть много охоты...

– Скажите, не мудрствуя лукаво: понравилась девица?

– Выше всяких похвал.

– То-то, нрава самого благопристойного и характера добрейшего.

– Из чьих же она будет?

– Не из чьих, сиротка. А вообще – крестница моя, потому и участие в ней принимаю. Жаль такую пташку на волю выпускать, коршунов теперь ой как много. Взяли бы под крыло.

Шешковский сразу отрезвел. Неспроста его сегодня обхаживают, наверное, у сей пташки птенчик завелся, вот и хотят прикрыться. Втянулся в кресло и пробормотал:

– Я хоть и стар, однако выйдет неприлично у себя в доме молодицу держать.

– Я не в содержанки ее прочу, – нахмурилась Екатерина, – а в законные жены, чтоб вам в радость, ей – в защиту. Так как же?

«Точно, с птенчиком», – уныло подумал Шешковский и чуть слышно выдавил:

– Мне монаршей воле противиться не пристало.

Подошли артисты. Императрица похвалила их за усердие и повелела выдать по сто рублей.

– А тебе, Аннушка, будет особый подарочек. Очень ты все натурально разыграла, но их превосходительство, – Екатерина указала на Шешковского, – посчитал это искусным притворством. Что скажешь?

Шешковский, пристально изучающий стан девушки на предмет обнаружения «птенчика», вздрогнул и смущенно улыбнулся.

– Я играла по своим чувствам, – ответила Аннушка, – и только ими была влекома.

– Мне тоже так показалось, – продолжила Екатерина, – но

поскольку его превосходительство проявил настойчивость, я, памятуя о нашем вчерашнем разговоре, предложила пари на тот предмет, что ты не только сыграть на сцене, но и в жизни поступить так горазда.

– Вестимо, матушка, – сказала Аннушка, еще не понявшая, куда клонится дело.

– Вот и докажи! Степан Иванович Шешковский, тайный советник и многих орденов кавалер, просит твоей руки.

До Аннушки плохо дошел смысл сказанных слов. Она впервые взглянула по-настоящему на улыбающегося краснолицего старика, пытающегося с трудом выкарабкаться из кресла. Полно! Это, должно быть, шутка, у государыни, как известно, веселый нрав. А как же Павлуша? Он-то почему молчит и на ее защиту не встает?

– Почитаю за честь, сударыня, совокупиться с вами на честное житие...

Аннушка услышала скрипучий старческий голос и жалобно посмотрела на государыню. Та понимающе улыбнулась:

– Не пугайся, дитя мое, не ты первая, не ты последняя – такова наша женская доля. Жених, хоть и не молод, зато богат и в чести, будешь за ним, как за каменной стеной. Что же ты молчишь? Ну-ка, напомни свои последние слова по роли: «И сердце, и красу...»

Аннушка механически проговорила: «И сердце, и красу, и молодость беспечну тебе я отдаю, мой господин, навечно».

– Слышали, Степан Иванович? – обратилась Екатерина к

Шешковскому. – Она согласна. Возьмите-ка сей перстень и передайте невесте в знак благодарности.

Шешковский взял бриллиантовый перстень, который императрица сняла со своего мизинца, и подошел к Аннушке, намереваясь надеть его. Но лишь только дотронулся до девушки, как она в беспамятстве опустилась на пол. Жених крикнул и бестолково затоптался вокруг. Нащокин бесцеремонно оттолкнул его и поднял девушку на руки. С этой ночью обратился к государыне:

– Ваше величество, явите милость, не разлучайте любящих сердец. Аннушка только что изъявила согласие стать моей женой и ждала удобного случая, дабы испросить на то ваше всемилостивейшее соизволение.

Екатерина казалась удивленной. Почувствовав ее замешательство, Нащокин с жаром продолжил:

– Мы давеча поклялись друг другу в вечной любви. Заклинаю вас всем святым: добротой матери, сыновней преданностью, страстью первого чувства, не позволить нам нарушить сей клятвы. Без Аннушки нет мне жизни, и с нею никому другому жизни не будет.

Екатерина задумалась:

«Интересно, когда они успели сговориться? Вчера Аннушка ничего мне не сказала, неужто притворялась? Нет, не похоже... Должно быть, и впрямь только что на глазах у этого старого греховодника объяснились...»

– Иван Афанасьевич, – обратилась она к Дмитревскому, –

у вас под носом молодежь амурсы разводит, а вы вроде как не замечаете.

– Виноват, ваше величество, – артист сокрушенно развел руками, – глаза за носом не видят...

Екатерина недовольно сжала губы. «Ишь, умник, пословицей решил отговориться. Будто у меня на сей счет других не найдется. А и молодые хороши, восхотели ожениться, никого не спросясь. Нужно объяснить им, без чего остается тот, кто делает без спроса. Знать бы, как далеко у них зашло».

Нащокин уловил брошенный на него взгляд государыни и страстно воскликнул:

– Ваше величество, помогите нашей любви! Ведь вы сами были когда-то молодыми.

Ах, как не ко времени вырвалась эта фраза, будто гром среди ясного неба. Тень набежала на лицо императрицы – разве можно так громко напоминать всем о ее далекой молодости? Кстати, ей тогда в любви никто не помогал, наоборот, только чинили препятствия. А спешки так и вовсе не допускали. Но какова Аннушка! Как быстро дала согласие – наскоком, без размысла, будто в омут головой. Глупое, несмышленное дитя! Ей неизвестно, что государыня все наперед обдумала и об ее счастье позаботилась. Кадетик тоже хорош! Вырвался на волю и хватать что послаще. Такова нынешняя молодежь: не возвращать, токмо понадкусывать. Нет, милые мои, где не сеяно, там и жатвы не выйдет. Так, кажется, говорится? Или...

– Где не посеешь, там не пожнешь, – произнесла она вслух, – нам противны скороспелые решения. Представление закончилось, и пора приступать к танцам. Вы же, Степан Иванович, – повернулась она к Шешковскому, – готовьтесь к свадьбе. Ждем вашего приглашения и стихов. Надеюсь, вы смените музу и побалуете нас сегодня любовной лирикой.

Она направилась в танцевальную залу. Все потянулись за ней и, обходя застывшего Нащокина, старались как бы не замечать его. Аннушка открыла глаза, он осторожно усадил ее в кресло. Девушка, должно быть, не сразу вспомнила происшедшее и ласково улыбнулась. У Нащокина горло перехватило.

– Не кручинься, любовь моя, – еле-еле выговорил он, – клянусь, что не отдам тебя в грязные руки старика и прежде заставлю его обручиться со смертью.

Аннушка кротко вздохнула.

– Бог с тобой, Павлуша, что ты такое говоришь? Нельзя свое счастье на чужой крови замешивать. От судьбы и воли государыни никуда не денешься.

– Но что же делать? – отчаянно воскликнул Нащокин и обратился к стоявшему рядом Храповицкому: – Александр Васильевич, помогите, научите...

– Не говорить и не поступать, не подумавши, – живо отозвался тот в своей шутовской манере. Потом переменил тон и вполне серьезно добавил: – Могу помочь лишь при одном условии: точно выполнять то, что будет впредь мною сказа-

но.

– О, клянусь в том своею жизнью и любовью!

– Тогда вверь девицу попечительству слуг, а сам готовься к новой роли.

Между тем веселье шло своим чередом и переместилось из-за столов в танцевальную залу. Она составляла одну из главных примечательностей дома Безбородко. Огромные хрустальные люстры на сотни свечей, отражаясь в зеркальных простенках и мраморных колоннах, образовывали живое, дрожащее марево. Торцевая стена, где располагался оркестр и хор певчих, была прозрачной, в нее заглядывали кущи зимнего сада, отчего вся зала казалась бесконечной. Капители боковых колонн были увиты зеленью и цветами. Они перекликались с искусно вырезанными травяными узорами над скамьями для отдыха.

За ними шел ряд раскрытых ломберных столов, к которым почти сразу устремились гости солидного возраста. А молодежь танцевала до упада. За торжественным полонезом следовала стремительная мазурка, чинный менуэт сменялся шумным галопом, чопорный английский променад уступал место игривой хлопушке, потом шли альман, уточка, ма-тадур, экосезы, в конце предлагался изощренный котильон, и все начиналось снова.

Время давно перевалило за полночь, императрица тишком уехала, но веселье было в полном разгаре. Хозяин восседал на помосте под искусно освещенным ребристым сводом

в виде раковины и не проявлял никакой склонности к прекращению бала. Он послал за придворным поэтом и в ожидании предстоящей потехи оживленно беседовал с окружающими, в числе которых находился и его неизменный приятель.

– Как там наша девица? – поинтересовался он у Храповицкого.

– Пришла в себя.

– Ну, слава богу! И что за блажь нашла на государыню?

– У нее свои рассуждения: Шешковский стар и долго не протянет, со смертью по отсутствию наследников все его богатство жене перейдет. Так крестницу и облагодетельствует, заодно старика умиротворит – кругом получается польза.

– Польза пользой, а все же жаль бедняжку такому пауку отдавать.

– Жаль, ваше сиятельство.

– И помочь никак нельзя, государыня всегда упорствует в своих намерениях.

– Точно так, упорствует. А девица вас, между прочим, поминала. Одна, говорит, надежда на графа Александра Андрейча, благодетеля моего.

– Но что я могу? Нешто государыню отговоришь?

– Никак не отговоришь, только девица того не знает. Одну надежду имеет.

Храповицкий обычно не бывал таким покладистым. Несмотря на разницу в положении между ним и графом

существовали вполне доверительные отношения, в которых каждый имел право на собственное мнение. То, что приятель так безоговорочно с ним соглашался, вызвало естественные подозрения.

– Дразнишься, негодник! – бросил граф. – Говори, что удумал.

– Надобно убедить государыню, что Шешковский по немощи своей стариковской вступить в брак не способен.

– Ее убедишь, как же.

– А мы доказательства представим, наглядные.

– Эк хватил! Наша матушка столько наглядных повидала, что на шешковскую и глядеть не станет.

– Станет. Она сама назначила ему прийти на предмет проверки здоровья – хочет министром назначить.

Известие вызвало у графа неподдельный испуг:

– Да ведь нам тогда и вовсе от него житья не будет.

– В том и беда. Давайте-ка пошлем к нему поручика, что о девице хлопотал, с поручением привести старца в надлежащее состояние.

– Опасное дело! Если старик пожалуется...

– Ни за что не пожалуется, ручательство даю! Тем паче что приводить в состояние будем его же собственной методой.

Он склонился к графскому уху и прошептал ему нечто такое, что Безбородко подпрыгнул.

– Гарно придумано...

Однако через некоторое время природная осторожность

взяла верх, и он засомневался:

– Государыня упряма, завсегда на своем настоит и свадьбу может отсрочить. Нужно что-то иное... Знаешь, какая у нее слабость?

– Об этом кто у нас не знает?

– Ты все об одном, греховодник! Главная слабость у всех расейских правителей, да будет тебе известно, это страсть к сочинительству. Лишь взойдут, начинают писать: мемуары, исповеди, заповеди, трактаты, пиесы – бог весть что. Вникаешь?

– Вникаю, но без проникновения.

– Государыня за время своего правления чего только не написала, одних пиес не менее дюжины. Вот и нужно, чтобы нынешняя свадьба сопровождалась каким-либо ее собственным сочинительством, тогда она ни за что не отставится. Недавно, помнится, представлялась пиеса государыни про князя Олега, и там игралась свадьба, от нее и будем плясать. Костюмы и декорации, думаю, сохранились, сыскать нетрудно.

– А как насчет актеров? Времени мало.

– Актеров искать не надобно, все здесь. Кстати, вот один из них, – сказал граф, указав на Шешковского. – Ну-ка, диду, иды до мэнэ. Рад узреть счастливого жениха, поздравляю.

Тот приблизился и церемонно поклонился.

– Весьма тронут удовольствием вашего сиятельства.

– А как насчет оды? Учли пожелания государыни?

– Безмерно обласканный высочайшим вниманием, токмо и помышлял о том, чтобы удостоверить наличие иных, oprичь венценосной орлицы, птиц дамского пола.

– Ну-ну, видел, как вы одну удостоверили... Что ж, давайте слушать. Тишина!

Храповицкий забежал по залу, приглашая гостей, и они поспешили к графскому помосту в предвкушении нового представления. Шешковский тем временем вынул свое творение из кармана и, вставши в позу, провозгласил:

– Ода по случаю знатного маскарада у графа Безбородки...

Среди присутствующих раздались одобрителные возгласы и поощрительные хлопки в ладоши, на что Шешковский недовольно поморщился, ибо рассчитывал ознакомить со своим творением только избранных. Он понизил голос и, доверчиво склонившись к графскому уху, произнес:

– Я, ваше сиятельство, сначала хочу описать удивительную разноплеменность вашего собрания...

– Вы читайте, читайте, – бросил ему Безбородко, – *Fiat lux!*²

– Слушаю-с! – откликнулся Шешковский на первую часть графского приказа. Вторая осталась вне понимания. Он прочистил горло и напыщенно произнес:

Мелькают дамских птичек лица,

² Да будет свет! (*лат.*)

И слышны разные языцы.
Вот эфиопка издалеча
К турки́ склонилася на плічо...

– К кому? – не понял граф.

– К турки́... Это такой народ, с коим мы воевать изволим.

– Нико́лы нэ чуяв, – признался Безбородко, недавно вернувшийся с русско-турецких переговоров о мире.

Храповицкий громко пояснил:

– Не к турки́, а к туркэ. У турк пліча не бывает.

– Много ты понимаешь! – вступился Шешковский за свое творение. – Сравни: турка – чарка, склоняются к чему? К чарке.

– Так вам чарка надобна?

Безбородко с ходу включился в игру и хлопнул в ладоши. Тотчас явилось питье и зазвенели бокалы. Шум не позволил Шешковскому разрешить недоразумение, и он решил переждать. Окружение графа громко смеялось, лишь Нащокин мрачно смотрел вокруг. Краснолицый старик, всеобщее пошмище, воспринимался как настоящий жених, и сам обещавший помощь Храповицкий вполне серьезно поздравлял его – чему радоваться бедному влюбленному?

– Ты все теперь понял? – поинтересовался Безбородко у шута, когда партия питья уничтожилась.

– Отнюдь, – упрямо тряхнул он звонкими бубенчиками. – Пиит все равно не там ударил. Возьми, к примеру, рог, скло-

няются к чему? К рогу. Тако же и к турку надобно...

Безбородко махнул рукой.

– Ты не по-дурацки умничаешь. Зачем тут рог?

– Вот и я думаю, зачем. Не женился, и рога не было бы. Ты, дядюшка, не позволяй ему турка не по тому месту ударять. Не дай бог, снова размирка выйдет.

Шешковский начал терять терпение.

– Ты хоть и дурак, а должен знать, что законы стихосложения позволяют делать разны ударения, и к твоим туркам они касательства не имеют. Можешь у самих спросить, – он раздраженно ткнул пальцем в сторону стоявшей неподалеку маски в чалме.

Маска обиженно произнесла:

– Я не турок, а перс.

– Какая разница? Они все друг на друга похожи.

– Тогда так и скажи, – Храповицкий выступил вперед и, подражая манере Шешковского, продекламировал:

Льнет эфиопка сдалека

К персе, похожем на турка.

Дружный хохот совсем вывел Шешковского из себя. Он топнул ногой и крикнул:

– Коли вам по нраву дурацкие вирши, то их и слушайте!

Безбородко миролюбиво сказал:

– Та шо вы, диду, серчаете? Хлопцы дюже проказливы и

зараз веселятся. Мы скажем так:

Довольно публика уся:
Фиопка, турка и перся.

Снова раздался хохот. Шешковский, уже не зная, что делать, переминался с ноги на ногу.

– Читайте дальше, – приказал граф.

Пришлось продолжить:

Здесь девы так веселье имут,
Что сразу мертвого подымут...

– Дядюшка, а что такое сраз? – вполголоса спросил Храповицкий.

– Чего тебе еще?

– Сраз у мертвого, что это такое?

– Не мешай слушать. Обыкновенный сраз, не знаешь, что ли?

Недовольный Шешковский зыркнул глазом, однако сдержался и продолжил:

В их взорах огонь призывный блещет,
Уста похвальну песнь измещут,
Они чисты, слова не ложны,
Почесть за лесть мне невозможно...

– Куда залезть, дедушка? – Храповицкий проявил новый интерес.

– От бисов сын, хиба не знаешь?

– Я-то знаю, токмо ежели невозможно, зачем под венец ийти? Ужель затем ему жениться, чтоб сохранить невинность у девицы?

Шешковский видел, как графское окружение корчится от смеха, и ярость стала заполнять его. Она уже была готова выплеснуться наружу, как вдруг вперед выскочил Нащокин и вскричал:

– Молчите, сударь! Не скверните своими устами той, чье имя – символ чистоты. Вы, кто ради насмешки и красного словца готовы отдать невинную душу на поругание. Кто кичится всевластьем и по прихоти готов разбить любящие сердца. Кто срывает плод, дабы не отдать другому, хотя сам не в силах даже надкусить его...

Шешковский слушал молодого человека, и лицо его все более наливалось кровью. Все копившиеся унижения сегодняшнего дня готовы были вырваться наружу, тем паче, что объект позволял применять к нему любые меры.

– Знаю, что говорю в последний раз, – продолжал Нащокин, – но жизнь без любезной все одно для меня потеряна. Вас ослепляет вседозволенность, вы тщитесь простереть свою власть на тело, душу, мысли, желания, однако ж никогда не преуспеете в том. Аз есмь человеце! Не принимаю вашего надзора и гибель предпочту я своему позору.

– Молодец, – сказал граф, – налейте ему!

– Он крамолу речет! – крикнул Шешковский. – Решениям нашей государыни противится.

Нащокин сделал к нему решительный шаг, так что Шешковский отшатнулся, и воскликнул:

Но если и цари потворствуют страстям,
То должно ль полну власть присваивать царям?

В наступившей тишине голос Шешковского прозвучал особенно внятно:

– А вот за это, сударь, вам придется на каторгу последовать.

– Это откуда? – как ни в чем не бывало поинтересовался граф.

– Трагедия Николева «Сорена и Земфира», ваше сиятельство, – почтительно ответил Нащокин.

А Храповицкий добавил:

– Сочинение, дозволенное к публичному представлению ее императорским величеством.

Шешковский на мгновение застыл в растерянности, потом изобразил улыбку и покачал головой:

– Хорошо же вы старика разыграли! Очень натурально и с большим чувством представить изволили. О-ох, молодежь, пальчик в рот не клади. У вас, молодой человек, настоящий талант, хотелось бы поближе познакомиться.

– Вы его отобедать пригласите, – хохотнул Храповицкий.

– С превеликим удовольствием. Приходите завтра, у меня все просто, без церемоний. Последний раз по-холостячки, а?

Нащокину показалось, что тот хитро подмигнул. Боже, как хотелось ему чем-нибудь запустить в эту самодовольную рожу, но Храповицкий ткнул его в бок и прошептал: «Благодари и соглашайся».

Пришлось покориться.

Зимний дворец был занят подготовкой к предстоящей свадьбе. Работы проходили под личным наблюдением императрицы. Для организации торжеств она согласилась воспользоваться собственной пьесой «Начальное управление Олега», не так давно представленной в Эрмитажном театре. До тех пор такую блестящую постановку в столице еще не видели. В распоряжение артистов предоставили полный гардероб прежних императриц, а к изготовлению декораций привлекли самых искусных мастеров, изобразивших виды Киева, Москвы, Константинополя, интерьеры княжеских теремов и императорских дворцов. Сейчас на той же самой сцене устанавливались декорации к третьему акту, показывающие великолепные княжеские палаты в Киеве. Там должны были происходить главные предсвадебные действия: наряжание изборской княжны Прекрасы и ее представление урманскому князю Олегу, затем их превращение в настоящих жениха и невесту, наставление молодым и после балета с алле-

гориями семейного счастья торжественное шествие к венцу.

Екатерина постоянно уточняла первоначальный текст, сообразуя его с нынешней потребой. Торжественную песнь из пятого акта, положенную на стихи Ломоносова «Коликой славой днесь блистает», она дополнила заключительным четверостишьем, славящим новобрачных:

Так пребывай же вечно славна,
Прекрасна дочь княгиня Анна!
И пусть звучит всегда осанна
Для князя славного Степана!

Она ежечасно интересовалась ходом подготовки и ради поистине не имевшего границ авторского тщеславия даже отставила на время государственные дела. Храповицкий без усталости сновал с поручениями, правил текст, сочинял реплики. В минуты увлеченности Екатерина действовала, как настоящий фонтан, и, если бы частично не отводить исторгнутого, случилось бы наводнение. Храповицкий, до тонкости изучив нрав своей повелительницы, всегда чувствовал, какое поручение возникло в случайном порыве и его можно направить в сток, а какое требует действительной работы. Это, последнее, бесполезно было оспаривать, императрица могла спокойно выслушать доводы, даже согласиться с ними, но все равно поинтересовалась бы, исполнена ли ее воля.

Как-то во время обсуждения одной из сцен с участием жениха она вдруг сказала:

– А что, Адам Васильевич, учитывая желание нашего старичка, не произвести ли его и вправду в министерский чин? Ведь тогда его жену можно с полным правом назначить моей фрейлиной. То-то закудахтают наши кичливые куры!

– Превосходная мысль! – воскликнул Храповицкий, стараясь выглядеть как можно естественнее. – Степан Иванович и вправду заслужил сию монаршую милость.

– Подготовьте соответствующий указ, – сказала Екатерина, – это будет мой подарок новобрачным.

Храповицкий еле-еле удержался от того, чтобы напомнить о ее только что сделанном распоряжении учинить испытание Шешковского на здравомере. Государыня не любит, когда в ее распоряжениях обнаруживаются подобные противоречия. Тут следовало действовать тоньше.

Некоторое время спустя, обсуждая детали предстоящей постановки, Храповицкий как бы между прочим сказал:

– Просматривая записи мыслей вашего величества, я обратил внимание на одну, весьма примечательную: правитель должен остерегаться издания неисполнимых законов и распоряжений, поскольку сие лишает доверия подданных. Наоборот, он обязан действовать так, чтобы любое его пожелание, даже намек, обретало силу закона и распространялась на всех без исключения.

– Это действительно мое мнение, – согласилась Екатерина, – и я всегда следовала ему.

– Не разрешите ли мне воспользоваться сей мыслию в

куплетах, прославляющих мудрый образ правления Олега?

Екатерина, соглашаясь, наклонила голову.

– Тогда послушайте, что получилось. Хор поет похвальную песнь своему князю пред появлением оного:

Храня родной удел
От посягательств орд,
Наш князь в поступках смел,
А в намереньях тверд.
И сказанному раз
Всегда привержен он:
Совет его – приказ,
Желание – закон!

– Прекрасно! – воскликнула императрица. – Вы становитесь настоящим пиитом. Но не мешает ли это делам? Готов ли указ, о котором я говорила?

– Готов, ваше величество, даже два. Вы давеча изъявляли также желание включить Мордвинова в списки сенаторов.

– А, верно, – согласилась императрица, – давайте бумаги.

Храповицкий с некоторым замешательством проговорил:

– Осмелюсь, однако, напомнить, что данное вами два дня тому назад распоряжение предусматривает проверку телесной крепости кандидатов к несению служебных тягот.

– Как же, как же, хорошо помню, в чем же задержка?

– В исключительной обремененности вашего величества государственными делами.

– Не лукавьте, Адам Васильевич, несколько минут для такой проверки у меня всегда найдутся.

– Осмелюсь также напомнить, что ваш новый кандидат на министерскую должность также не молод, а годами даже постарше будет. Нешто для него сделать исключение?

Екатерина сжала губы и после некоторого раздумья сказала:

– Разве в ваших записях нет моей мысли о том, что всякое исключение свидетельствует о недостаточной продуманности правила? Не вижу причин для уклонения от сделанного распоряжения. Приведите жениха завтра для испытания, возможно, оно придаст ему уверенности в действиях с молодой женой. Кстати, как она себя чувствует, не терпит ли в чем нужды? Проверьте и дайте мне знать.

Храповицкий поспешил из кабинета, довольный решением государыни.

Шешковский неприкаянно бродил по дому. Так часто бывает с теми, кто готовится к неожиданным переменам в своем жилище. Яков, управляющий домашними делами, удивлялся поведению хозяина, заглядывавшего в самые неожиданные места. Его обычно рассеянный взгляд вдруг сделался пронзительным и везде находил упущения: грязные занавеси, погрызенную мебель, мусор.

– А это что такое? – Шешковский едва не наступил на кучку из черных бобов.

– Это щенята вашей Альфы, – Яков сгреб бобы в ладонь и ссыпал в цветочный горшок, – беспрестанно серут, хучь следом ходи.

– Ты ныне поостерегись. Барыня таких слов, поди, не знает.

– Научим, – убежденно сказал Яков, вытирая руки о занавеску, – она, сказывают, девица простая, стало быть, понятливая.

Шешковский спустился в подвал и заглянул в экзекуторскую – обширное помещение с пыточными принадлежностями. Картина была привычной, но в этот раз показалась особенно мрачной. Покрутил носом, приказал дверь, ведущую из дома в подвал, закрыть, ею более не пользоваться и барыню ни при каких случаях сюда не допускать. Митрич, здоровенный мужик, главный заплечник, постукивавший у наковальни, оторвался от дела и усмехнулся в сивую бороду: нашего ремесла все равно-де не утаишь. Шешковский понял его с полуслова – столько лет вместе и почитай каждый день в работе. Сразу отозвался: ты, сказал, потише брякай, а не то затычки придумай, чтобы гости шибко не вопили. Митрич разогнулся, утерся рукавом и сказал:

– Без крику, ваше сходительство, никак нельзя. Он нашего брата бодрит и в кураж вводит.

– Н-но, поговори... Сказано – сполняй!

Велеречивый в светском обиходе, Шешковский был немногословен в разговоре со слугами. Случалось, вместо

слов и руку прикладывал. Двинулся к Митричу, чтобы глянуть на его работу, и по неосторожности за свисавший крюк зацепился, так что малость надорвал карман камзола. Разозлился и швырнул крюк в сторону Митрича, хорошо, что веревка удар сдержала, и крюк только чуть щеку оцарапал. Митрич ничего, царапину промокнул рукавом и снова над наковальней склонился. Шешковский помялся, понял, что зазря обидел подручника, положил ему руку на плечо.

– Ты это, ладно... Слыхал про мою женитьбу?

– Ну...

– Что скажешь?

– Так че, кому жениться, кому под глазом светиться.

Шешковский полез в надорванный карман за денежкой. На ощупь, как назло, попадались большие пятаки – посчитал, что много, пивом залиться можно. Наконец нащупал алтын и сказал:

– Нынче гость у меня будет, молодой и глупый. Уму-разуму буду учить, ты уж постарайся от души. Криков не слушай, может, последний раз без хозяйки. Вот тебе задаток...

Митрич покосился на покидавшего подвал благодетеля и плюнул на зашипевшую поковку.

Приближалось назначенное гостю обеденное время, и Шешковский напялил на себя светскую личину. Он встретил Нащокина с искренней радостью, излучая самую любезность.

– Ах, сударь, сколь мне отрадно ваше непогнушение к посещению моей скромной обители. Молодежь, да будет из-

вестно, склонна к попиранию старости, не находя иных чувствований, кроме высокомерного презрения. Но мы тоже хороши, требуя от вас только усугубленной ревности в службе, а все забавы нежного возраста, почитая за вздорную блажь. Надобно пойти навстречу, одним набравшись терпения, а другим снисходительности. Именно в сретении сих невозможных доселе качеств вижу я залог всеобщего благорасположения...

Нащокин с трудом сдерживался. Ему был отвратителен этот краснолицый старик с монотонной речью и жалкими потугами на глубокомыслие, но он обещал Храповицкому вести себя благочинно, чтобы не дать до времени повод к малейшим подозрениям.

– Я, сударь, несмотря на злостное в отношении меня покусительство, на вас обиды не держу, – продолжал Шешковский, – ибо вполне понимаю молодое телесное томление. Однако ж не для оправдания, но единой истины ради, скажу, что побуждаюсь к браку не по собственному дерзновенному желанию, но по одному высочайшему соизволению.

– Помилуйте, – не выдержал Нащокин, – мы ведь с вами не подлого сословия, чтобы безропотно сносить подобные веления.

Шешковский резво поднялся из-за стола и замахал руками, так что даже кубок опрокинул.

– Бог знает, что вы такое говорите, сударь! Ужели вас не научали в корпусе, что прямое благочестие токмо безуслов-

ным повиновением учреждается и единственно через него проистекает? Вот уж не знал, что любезный граф Федор Евстафьевич от сей непреложной истины своих выучеников отваживает и приводит в состояние, которое может подать повод к повреждению нравов. То-то зрю промеж кадет довольно пагубные измышления, надо бы графа остеречь.

Директор кадетского корпуса Федор Евстафьевич Ангальт был на редкость сердечным и мягким человеком, пользовавшимся любовью своих питомцев. Ласка, доверие, просветительство, гуманность – эти принципы, на которых зиждилась его система воспитания, дали удивительно плодотворные всходы, выпускники корпуса занимали в то время едва ли не половину важнейших мест в государстве. Одни начальствовали в армии, другие заседали в сенате, коллегиях, управляли наместничествами, председательствовали в важных комиссиях. По сей причине Екатерина, первоначально благосклонная к Ангальту, назвала корпус «рассадником великих людей России». Времена, однако, изменились. Гуманизм и просвещение, обернувшись ядовитыми плевелами на французской почве, более не поощрялись. На деятельность графа стали смотреть косо; книжки, купленные им на собственные деньги, из корпусной библиотеки изымались; изображения великих мужей, призванных служить юношам образцами, упрятывались в кладовые; с «говорящей стены», предмета особой гордости директора, удалялись мудрые изречения, долженствующие направлять пи-

томцев на жизненной дороге. Кадеты ощущали происходящие перемены и были готовы защищать любимого наставника. Услышав про новую для него угрозу, Нащокин тотчас забыл о натянутой на себя маске презрения и растерянно проговорил:

– Господин директор всегда учит, что послушание вкупе со скромностью служат главными добродетелями юношества.

– Это токмо слова...

– Да вот же, – Нащокин вынул из кармана книжицу, которую Ангальт вручал каждому покидающему корпус. Она содержала все мудрости «говорящей стены». – Вот же: «Всякая власть от бога», «Повиновение начальству – повиновение богу», «Послушание паче поста и молитвы»...

– Ну-ка, ну-ка, – заинтересовался Шешковский и, взяв книжицу, быстро перелистал ее. Потом подбежал к шкафу и, достав какой-то древний фолиант, радостно воскликнул: – Наконец-то я нашел совершенное удостоверение своим догадкам. Ангальтовы заповеди, выдаваемые за непреложные истины, суть измышления иезуитов. Они слово в слово заимствованы из ихнего устава. Помилуй господи! Нежная опора Отечеству доверена иезуиту! Вот где корень зла, вот где источник повреждения нравов!

Шешковского охватило крайнее возбуждение, какое бывает у человека, обнаружившего возгорание. Казалось, еще немного, и он заколотит в пожарное било или пригонит во-

довозку, чтобы залить пламя. Нащокин с удивлением смотрел на проявления внезапного пыла, не желая поверить, что явился невольной причиной его возникновения.

– Разве в сих истинах есть какая-либо крамола?

– Крамола не в самих истинах, а в том, что лежит за ними. Иезуиты признают власть только папы и своих орденских начальников, им они отдают всю преданность, зато допускают неповиновение земной юдоли. Они хотят возбудить постепенное народное презрение к своим законным монархам, от древности до посейчасного времени. Для того поощряют охоту кадет к писанию злобных пьес. Может быть, напомните мне имена известных сочинителей?

– Сумароков, Херасков, Княжнин, Веревкин, Николаев...

– Не странно ли, что все это ваши кадеты?

– Кроме Николева. Он слепец и к службе не пригоден.

– Сей выкормыш княгини Дашковой из того же помета.

Вы вчера с пылом читали его призыв: не надо-де полную власть отдавать царям. Тому же учат иезуиты. А что пишет Княжнин? – Шешковский достал книгу и открыл на закладке. – «Так есть на свете власть превыше и царей, от коей и в венце не избежит злодей!» Все к одному.

– Но при чем тут граф Ангальт? Он престолу верный слуга и нас тому же учит. Загляните в его книжицу: «Без царя – земля вдова», «Воля царская – закон», «Не судима воля царская». А если есть на земле неправда, то она не от царя, но от его слуг проистекает: «Не царь грешит, а думцы наводят».

Шешковский радостно поддержал:

– «Царь гладит, бояре скребут» – была и такая заповедь.

Или нет?

Нащокин сразу осекся – старику о всех корпусных делах ведомо. Была одно время на говорящей стене и такая надпись, пока один из озорников ночью не стер букву «л» во втором слове. Вышло хоть и смешно, но очень неприлично. Ангальт учредил дознание и вскоре отыскал виновника, но делу хода не дал, просто убрал надпись и более о ней не напоминал.

– Что же вы замолчали, сударь мой? – вкрадчиво спросил Шешковский. – Разве при благонамеренном воспитании могут такие мысли исторгнуться? А ежели исторглись, можно ли их покрывать? К счастью, мы сих пагубных ласкателей теперь выведем на солнышко и тем их приспешников остережем. С вашей помощью...

– Позвольте, какая помощь? – вскричал уязвленный Нащокин. – Я не давал никакого повода.

– А на книжицу не вы ли указали и через нее на мысль навели? Я так и говорить всем стану: вот он, честный юноша, койй споспешествовал погублению крамолы и наведению благоучрежденного порядка.

Нащокин растерялся. Бог свидетель, что он не сказал ни одного порочащего слова, но кто поверит в это, если на корпус и директора обрушится опала? Мерзкий старик знает, как опорочить доброе имя. Шешковский, будто не замечая

смятения гостя, все так же вкрадчиво продолжал:

– Однако если вы по зрелом рассуждении заблагорассудите объявить соизволение свое на оказание действительной помощи престолу и согласитесь разоблачить растлителей юношества, то мы потщимся сокрыть ваше истинное участие и достойно вознаградим вас. Льщусь надеждой, что за разорение иезуитского гнезда монаршая милость позволит мне стать высокопревосходительством, а вам – высокоблагородием. Я давно превосхотел это разорение, дабы выбить из-под иезуитской братии самую нижнюю ступень и низринуть их в бездну.

Шешковский смотрел на гостя выцветшими белесыми глазами, в которых мелькали тлеющие огоньки, и снисходительно улыбался, вполне уверенный в благоприятном ответе. А у Нащокина вдруг всякое смятение прошло. Он улыбнулся ему в ответ и четко выговорил:

– Нет, сударь, вашему низкому превосхотительству я не помощник.

Что-то неуловимое изменилось в лице Шешковского, все вроде то же: улыбка, глаза, разве огоньки стали чуть ярче, а вот, поди же, сразу пропало прежнее выражение.

– Вы плохо подумали, сударь, – тихо проговорил он, – жаль портить службу в самом начале. Ведь вы мне не чужой, может быть, даже родственником станете, – и так противно осклабился, что Нащокин едва не плюнул в эту гаденькую улыбающуюся физиономию. – Так вы поразмыслите еще

немножко. У меня для того звериное креслице имеется – утишает страсти и располагает к умосозерцанию. Прошу вас.

Нащокин встал и поклонился.

– Благодарю за угощение, я премного насытился и утруждать себя размыслами не намерен.

– А вы все-таки утрудитесь, – продолжал настаивать Шешковский, а сам потихоньку стал подталкивать его к креслу. – Посидите, подумайте. Креслице не простое, подарено персидским шахом прежней государыне, оно лечит хандру и утишает страсти. Примечательное креслице, вам, чай, еще не приходилось на льве сживать.

Нащокин смотрел на него сверху вниз – старик был ему по плечо, но упрямо упирался в живот, так что приходилось пятиться. Оставался уже какой-нибудь вершок, когда Нащокин крепко встал и перестал поддаваться толчкам.

– Ну же, ну... – закричал старик, – уважьте хозяина.

Внезапно Нащокин обхватил его руками и, оборотившись на полкруга, усадил самого прямо под свирепую звериную морду. Шешковский издал изумленный крик, а Нащокин в полном соответствии с указаниями Храповицкого повернул правую львиную лапу, отчего механизм кресла пришел в движение и мертвой хваткой прижал старика к спинке. Следуя тем же инструкциям, Нащокин топнул ногой. Кресло плавно пошло вниз. Шешковский стал испускать протяжные крики и со страхом прислушивался: что происходит внизу. Там же все шло в соответствии с заведенным порядком.

Митрич и помогавший ему Яков сноровисто стянули с жертвы штаны, что вызвало наверху новый приступ ругани. Что-то слишком знакомое почудилось Якову в теле жертвы, и он, указав на обнажившуюся вялую плоть, сказал:

– Сдается, нам не молодого, а старичка сунули – вишь, гузно совсем прожелкло, его никак лет семьдесят мнут.

Митрич взял из кадки мокрую розгу, попробовал языком – подсолить бы! Вынул из кармана подаренный алтын и протянул Якову – принеси соли да насыпь от души. Тот сорвался с места и наполнил кадушку с верхом. А Митрич тем временем деловито осмотрел место предстоящей работы и, заметив свисающую полу камзола с оторванным карманом, неспешно подвязал ее, чтоб не мешала.

– Нам рассуждать не велено, – буркнул он, вытащил розгу, обсыпанную еще не растаявшими кристалликами соли, с довольным видом поглядел на нее и ударил с жесткой оттяжкой.

Сверху донесся дикий вопль.

– О-ой-ой! Прекратить! Я вас в тюрьме сгною, на дыбу отправлю!

– Сердитый, однако, гость, – удивился Яков, а Митрич все так же угрюмо заметил:

– Сказано, криков не слушать.

Сам же подумал: «Однако слабенький нынче гость, цельного круга не выдержит». У него для таких слабаков рука словно свинцом наливалась, размахнулся и ударил снова.

Вышло, должно быть, крепко, ибо вопль перешел в поросычий визг.

– А-а! Пальцы выдерну, глаза выкручу, мясы поджарю! – неслось сверху.

Митрич, наполнившись совершенным презрением, решил в полной мере исполнить наказ хозяина и заработал с остервенением мастера, соскучившегося по работе.

Шешковский не вынес и половины обычной дозы наказания. Человек, уже тридцать лет занимавшийся палаческим ремеслом, оказывается, совсем не выносил боли и потерял сознание, когда число ударов едва перевалило за сотню. Правда, тут могло сказаться особое рвение, с каким в этот раз отнесся Митрич к своим обязанностям.

Полученного оказалось достаточным, чтобы Шешковский промаялся ночь в жестокой лихорадке и почувствовал себя совсем разбитым. Когда утром к нему прибыл курьер с приказом немедленно прибыть во дворец, первой мыслью было отказаться от поездки по причине внезапной болезни. Духа, однако, перечить не хватило, к тому же императрица проявила особую милость, прислав собственную карету.

Кряхтя и стеная, Шешковский сполз с кровати и начал приводить себя в порядок. Трудность состояла в том, что, опасаясь огласки, он не стал признаваться слугам в позоре, велел только принести чистую холстину. Когда принесли, помочил ее собственной влагой – единственным признававшимся им «снадобьем», применявшимся во всех случаях, и

стал обматывать пострадавшее место. Ах, как болело избитое старое тело, какую боль причиняло каждое движение! Он стонал, пускал невольные слезы, ругался. Ноги и руки плохо повиновались, а походка была такая, будто его поставили на ходули. С трудом доковылял старик до кареты, но там не мог пристроиться и простоял весь путь враскорячку, благо потолок оказался высоким.

По дворцовым покоем он прошествовал в одиночку – наслышанные о вздорном нраве старика, обитатели предпочитали уклоняться от встречи с ним. Лишь в приемной пришлось задержаться.

– Поздравляю с торжеством! Как здоровьице? Императрица скоро примет вас, прошу присесть... – Храповицкий так и вился возле него. – Что же вы стоите? Если есть какое недомогание, сразу объявите, вам предстоит нынче много трудиться.

– Я в полном порядке, – буркнул Шешковский и, поймав недоверчивый взгляд Храповицкого, подумал: «Должно быть, знает, подлец, о случившемся, сам и научил молоко-сосу. Ничего, я все вызнаю и, коли причастен, воздам по заслугам».

Через некоторое время Шешковского позвали в кабинет. Императрица встретила его ласковой улыбкой, но, по мере того как он демонстрировал свою странную походку, улыбка сходила с ее лица. А после нелепого поклона совсем встревожилась:

– Что с вами, Степан Иванович? Уж не больны ли вы?

Шешковский с трудом выпрямился и бросил негодующий взгляд на Храповицкого – уже, должно быть, нашептал государыне. Стараясь выглядеть как можно более уверенным, проговорил:

– Благодарствую, здоров. Я, ваше величество, навроде рабочей лошади: вида не имею и прыгать не горазд, но воз еще свезу.

– Прекрасно, – обрадовалась Екатерина и подвинула лежащий на столе указ, – было бы досадно не получить приготовленный для вас подарок. И все же придется пройти небольшую проверку. Извольте сесть вон на то кресло и сделать, как скажет Адам Васильевич.

Шешковский несколько замешкался, однако, встретившись с подозрительным взглядом государыни, заковылял в указанном направлении.

– Садитесь, сударь, – любезно предложил Храповицкий.

Шешковский начал с великим тщанием готовиться к посадке.

– Помогите же ему, Адам Васильевич, у нас не так много времени, – напомнила императрица.

Храповицкий с видимым удовольствием схватил Шешковского и с силой вдавил его в сиденье. Раздался ужасный крик, и старик потерял сознание. Екатерина не на шутку испугалась, поспешила к креслу и при виде неподвижного старика стала тормошить его.

– Что, что с ним такое? Боже, а какой запах!

– Запах рабочей лошади, – пояснил Храповицкий.

– Но почему вы стоите? Сделайте хоть что-нибудь, пошлите, наконец, за лекарем.

В это время Шешковский открыл глаза. Увидев склоненное над собой лицо императрицы, он слабо улыбнулся и прошептал:

– Простите, ваше величество, сомлел не ко времени.

– Вы обманщик, – сердито сказала Екатерина, – притворились здоровым, а на самом деле больны.

Шешковский протестующе поднял руки и начал доказывать свое отменное самочувствие обычным способом изъяснения, к которому привык:

– Не извольте сердиться, матушка-государыня. Несмотря на злостное покусительство сквернителей верных слуг престола, заверяю, что не дошел до состояния полного погубления, но токмо немного сомлел от кратковременного отсутствия духа.

– Жених снова возвращается к жизни, – заметил Храповицкий.

Императрица с несвойственной несдержанностью оборвала его:

– Ваши замечания неуместны. Позаботьтесь, чтобы больному оказали помощь.

Храповицкий вызвал слуг и приказал препроводить Шешковского в лекарские покои. Екатерина стала ходить по каби-

нету, изредка останавливаясь у столика, чтобы сделать глоток воды. Это свидетельствовало об ее крайнем раздражении. Серdito сопроводив взглядом ковыляющего Шешковского, она с досадой воскликнула:

– Ну что вы на сие скажете?

– Боюсь, наш конь не доскачет до венца, – сказал Храповицкий.

Императрица поморщилась и хотела снова отругать статс-секретаря, но тот услужливо поднес ей стакан воды. Она поблагодарила. Нет, секретарь, конечно, ни при чем. Но, согласитесь, обидно потратить столько сил, чтобы в последний момент все рухнуло из-за какого-то пустяка. Неужели нельзя ничего сделать? Храповицкий понял этот немой вопрос и как бы между прочим сказал:

– Спектакль может быть сыгран вторым составом.

– Что вы имеете в виду?

– Ваше величество знает, что случай часто благоприятствует молодым исполнителям.

– Вы говорите об этом молодом человеке, Нащокине?

– Точно так-с. Уверен, что он отлично справится с ролью, во всяком случае без всякого труда сможет постоять, посидеть и даже...

– Довольно, довольно... вам никак не обойтись без пошлостей... Ну а как же величальная, там же другое имя?

– Не извольте беспокоиться, все будет сделано в наилучшем виде.

Екатерина задумалась. Кажется, предложение заслуживает внимания, не отменять же торжество. Правда, перед стариком неудобно.

– Возможно, он еще поправится, – нерешительно проговорила она.

– Без сомнения поправится, – уверил Храповицкий, – мы тогда этому скакуну другую пару подберем.

Екатерина погрозила ему пальцем, но не строго, было видно, что предложение принято. Храповицкий попросил разрешения удалиться, дабы сделать новые распоряжения.

– Прошу вас не афишировать наше решение, – напутствовала его императрица, обожавшая разного рода сюрпризы, – особенно невесте. Я ведь обещала окончить дело к ее полному удовольствию.

Храповицкий приложил палец к губам – дескать, могила. Через некоторое время хористы получили новые слова величальной:

Так пребывай же вечно славна,
Прекрасна дочь княгиня Анна!
И чтоб потомством род прославил
Наш князь младой Нащокин Павел.

Им строго наказали, чтобы они до времени никому ничего не говорили. Они и не говорили, только пели.

Представление началось в означенное время. Все участники играли свои роли с большим воодушевлением, хотя

неожиданно введенный в спектакль Нащокин безбожно пу-
тал слова. Зато Аннушка, обрадовавшись замене партнера,
выглядела сущим ангелом, от нее будто свет исходил. В зале
не нашлось, верно, ни одного сердца, которое бы не дрогнуло
в ответ на излучаемое ликование. А потом, стоя перед алта-
рем, она не сводила глаз с божественного лика и, шевеля гу-
бами, вела с ним доверительный разговор. Юная пара вызы-
вала общее умиление, и довольная императрица призналась:

– У этого дела есть хороший конец, только Шешковского
жалко.

– Да, про его тело такое не скажешь, – согласился Храпо-
вицкий.

– Вы это про что? – насторожилась Екатерина и погрозила
ему пальцем: – Вы настоящая проказа!

– Проказник, всего лишь проказник, ваше величество.

Она поглядела на улыбнувшегося Храповицкого и нахму-
рилась. Просто так, для острастки – сегодня ей совсем не хо-
телось сердиться.

Тихая месть

Петя Тихонов поступил в кадетский корпус 10-летним мальчиком. Мать его незадолго до того умерла, а отец, полковой командир, был так занят хлопотливой должностью, что руки до сына не доходили. Отдавать его сестрам он не рискнул из-за боязни испортить характер наследника женским воспитанием и после недолгих раздумий привез в корпус, дав на прощание такое наставление:

– Учись, сын, по своему разумению, но нашей фамилии не позорь.

По правде говоря, Петя в таком наставлении не нуждался, поскольку имел характер своенравный, всегда коноводил и в корпусе своих привычек менять не захотел. Сразу же остановил Ваню Горохова, самого маленького кадетика, и деловито осведомился:

– Обижают?

– Еще чего? – вскинул тот голову и показал рогатку. – Пусть только сунутся.

– Молодец! – одобрил Петя. – Ты – за себя, а мы – за тебя! С тех пор их всегда видели вместе.

Во всяком заведении новички подвергаются испытаниям и доверчиво воспринимают разного рода наставления. Для старожилов наступала благодатная пора – появлялась возможность распространить свое влияние на новое поколение

и обложить его данью. Не успели новенькие обустроиться, как к ним в гости пожаловали «старички». Петиному отделению достался старшекласник, чье пребывание в корпусе перешагнуло на второй десяток, поскольку тот оставался на второй год чуть ли не в каждом классе. Его фамилия была Кабанов, хотя более известен он был как Вепрь, что вполне соответствовало его вздорному нраву.

Начал Вепрь вполне миролюбиво: предложил померяться с ним ростом. Он оказался на голову выше всех, Горохов едва достигал ему до второй пуговицы на гимнастерке. Вепрь задержал его и объявил:

– На каждом завтраке будешь отдавать мне полбулки, – немного помолчал и соизволил пояснить: – У меня больше энергии уходит. Справедливо?

Ему отважился возразить только Петя:

– Нет! Вы уже не растете, а Гороху нужно усиленное питание.

Вепрь осмотрел его с ног до головы и зевнул:

– Ты тоже будешь приносить мне полбулки.

– А хуже не будет? – бесстрашно поинтересовался Петя.

Вепрь протянул руку, намереваясь схватить насмешника, но Петя ловко увернулся, еще и нос показал. Вепрь разразился бранью и устремился за ним. Дело происходило в классной комнате, особенно не разбежишься, а Петя и не думал. Проскочил между парт, прыгнул на тумбу, где хранились учебные пособия, и пока Вепрь разворачивался, он уже с ка-

федры показал ему нос. Тут и помощь подоспела в виде Ваниной рогатки, и на лбу у Вепря появился кровоподтек. Дрались обычно до первой крови, да разве теперь до правил? Взревел Вепрь и устремился на обидчиков, тем волей-неволей пришлось убежать.

Далеко, правда, убежать не удалось – в коридоре наткнулись на своего офицера-воспитателя майора Батова. В кадетские выяснения отношений он предпочитал не вникать, полагая, что его питомцы сами должны находить выход из своих затруднений. Это был старый служака, уставший от службы и потому предпочитавший пользоваться неуставной терминологией.

– Вы куда это, детки? – озадачил он вопросом налетевших на него кадет. Впрочем, при виде старшекласника с кровоточащим лбом ответ на этот вопрос не понадобился.

– А вы куда, юноша? – переиначил вопрос Батов.

Юноша молчал, только тяжело дышал и раздувал ноздри.

– Кто же вас так? Не эти ли бессердечные дети?

Как ни зол был Вепрь, но ответить на такой вопрос он не мог. В корпусах существовало исконное правило, согласно которому на товарища, каков бы тот ни был, показывать нельзя.

– Тогда я обращусь к вам: не вы ли, дети, обидели этого юношу?

Петя изобразил на лице покаянное выражение и выдавил:

– Мы...

Вепрь даже взвыл от негодования.

– Ах, какие злые мальчики! Попросите прощения у бедного товарища и пообещайте никогда не обижать его больше.

– А меньше? – деловито поинтересовался Петя.

Этого Вепрь вынести уже не мог.

– Да я тебя с дерьмом смешаю! – выкрикнул он самую страшную угрозу, которая допускалась в формальной обстановке.

– Как это грубо! – возмутился Батов и отправил Кабанова в карцер. Петя, довершив издевку, стал притворно канючить: дескать, не наказывайте, он исправится и будет вести себя хорошо. Вепрь только зубами заскрипел.

Понятно, что такое «восстание рабов» не могло быть оставленным без внимания, и рабы со страхом ожидали развития событий. Петя крепился и призывал товарищей к стойкости. И тревожиться они имели все основания. Действительно, вскоре в спальню младшей роты пожаловали «старички». Об их приближении уведомила заблаговременно выставленная стража. Сыграли срочный «подъем», малыши вооружились подушками и поясными ремнями. Первые должны были служить щитами, а вторые, вернее их бляхи, – оружием. Было проявлено редкое единодушие, лишь два отщепенца остались в кроватях, изображая, что крепко спят. Увы, сражению не было суждено состояться, – в самый последний момент появился Батов, предвидевший подобное развитие событий.

– Вы почему в расположении нашей роты? – строго обратился он к непрошеным гостям.

Те растерянно молчали, устремив взоры на предводительствующего в их компании Вепря. Ну от того и в более благоприятной обстановке было трудно ожидать вразумительного ответа.

– У нас вечер дружбы! – пришел ему на помощь Петя. Вепрь продолжал молчать, гордость не позволяла поддерживать соперника.

– Вон оно что, ну так я тоже покажу вам вечер дружбы! Голос Бати не предвещал ничего хорошего.

– Становись! – зычно скомандовал он.

Кадеты образовали две шеренги, каждая сторона свою. Последовало еще несколько строевых команд, их выполняли автоматически, не задумываясь, как и полагалось в хорошо натренированном подразделении. В результате всех действий образовался круг, где попеременно стояли старшие и младшие кадеты.

– Хотите дружить? – сурово обратился к ним Батя.

– Так точно! – дружно отозвался круг.

– Это хорошо, – одобрил он и неожиданно скомандовал:

– Целуй налево!

Не ожидавшие такого поворота кадеты стояли не шелохнувшись.

– Вы что, не слышали команду?! Целуй, вашу мать, налево!

Площадная брань в отношении воспитанников применялась крайне редко, когда совсем уж доведут, за исключением разве что строевых учений – там без ругани и шага не сделаешь. Как бы то ни было, команду следовало исполнять, и ее исполнили. Петя, оказавшийся рядом с Вепрем, нехотя чмокнул его в щеку и невольно поморщился оттого, что едва не поцарапался о небритую щетину.

– Брезгуешь, сука... – процедил сквозь зубы Вепрь, от которого не укрылась недовольная гримаса партнера.

– Отставить разговоры в строю! – предупредил Батя. – Целуй направо!

Петя с готовностью подставил нежную детскую щеку, а когда Вепрь чмокнул ее, игриво закатил глаза и поинтересовался: «Ну как?» Партнер еле-еле удержал негодующий взгляд.

– Ничего, – успокоил его Петя, – стерпится – слюбится.

– Целуй налево!

Петя исполнил команду и издевательски прошептал на ухо Вепрю: «Следующий раз брейся чище».

– Подожди у меня, дрянь этакая... – выдавил Вепрь очередные ласковые слова.

– Премного довольны вашей милостью... – громко воскликнул Петя, чем обратил на себя строгое внимание Бати.

– Вы, двое, – указал он на Вепря и Петю, – останьтесь, остальным разойтись. С вами будем отрабатывать приемы отдельно.

Немного помолчал и стал командовать:

– Целуй направо!

– Целуй налево!

Команды следовали одна за другой, так что на обмен репликами времени не оставалось. Следовало безропотно подчиниться, что в конце концов успокоило Батю.

– Получили удовольствие? – поинтересовался он.

– Так точно!

Оба воскликнули в один голос, что вызвало у Бати снисходительную усмешку:

– Ладно, братцы, сделайте перерыв. Но если еще раз...

– Так точно! – вскричали они и разбежались в разные стороны.

Больше визитов в младшую роту не предпринималось.

К своему Бате кадеты относились с большим уважением, он не отличался мелочной придирчивостью, чем грешат иные воспитатели, и предоставлял им большую самостоятельность, давая возможность самим находить выход из затруднительных положений. Это они смогли оценить по-настоящему много позже. А сначала на их отношение повлияли рассказы старого майора. Семьи у него не было, поэтому его всегда можно было найти в корпусе. В свободное время сядет где-нибудь в уголке, вокруг него тотчас собираются кадеты и просят что-нибудь рассказать. Батя долго не упрямится, начинает какую-нибудь историю вспоминать, их у него великое множество. Мелькают разные страны, эпохи, лица,

иногда вовсе несовместные, на что никто не обращает внимания.

Сначала, учитывая юный возраст воспитанников, он забавлял их сказками. Чаще всего рассказывал о Негусе, который живет в снежных горах и питается теплой кровью. Ничто не может его погубить: ни огонь, ни вода, ни стрелы – никакое уязвление, потому что вместо пораженных органов и частей тела у него сразу же вырастают новые. Единственное, чего он боится, это недостатка кровавой пищи, ибо тогда собственный яд разливается по телу и приводит к гибели. С этим самым Негусом сражались русские витязи и, естественно, всегда одерживали победы. Со временем, когда питомцы повзрослели, Батя заменил сказки историями о доблести российских воинов и их славных предводителей. Наиболее часто рассказывал о русских полководцах – Румянцеве, Суворове, Кутузове, Паскевиче... Под началом последнего он участвовал в персидском и турецком походах, поэтому им уделял особое внимание. Свесит седую голову на грудь, задумается – это знак, что вспоминается новая история, тогда все вокруг замирают, на подходящих шикают и подносят палец к губам. Те сразу встают на цыпочки, а Батя начинает:

– Было это дело в войну с турками. В августе 1828 года подошли мы к городу Ахалциху, бывшему тогда в турецком владении. Как положено, выслали парламентаря с требованием сдаться по примеру предыдущих крепостей. Нам отвечали так: «Мы не эриванские и не карские жители, мы –

ахалцхские; у нас нет ни жен, ни имущества; мы все решили умереть на стенах нашего города!» Так на самом деле и оказалось: нарядились они в белые рубахи и показали тем самым, что обрекают себя на смерть. После жестокого обстрела сделали мы пролом в крепостной стене, защитники, однако, не оробели, бросились к пролому и завязали отчаянный рукопашный бой. О сдаче и в самом деле никто из них не помышлял, мужчины и женщины бросались на нас с кинжалами в руках, каждый дом приходилось брать с боем. Мы были вынуждены зажечь город, пламя быстро распространялось, и неприятель либо запирался в своих домах, предпочитая принять смерть в родных стенах, либо без раздумий прыгал в огонь. Нигде не видел я, братцы, столько трупов с обеих сторон. Но наши солдатики не ожесточились, на честь женщин не посягали, а детишек спасали. Отводили их в безопасное место, и если иные не могли идти от ран или изнеможения, брали на руки. Это для нашего военного брата закон – помочь слабому. Суворов так и учил: «Солдат – не разбойник, врага сокруши, поверженного накорми и обогрей».

Подобные рассказы Батя перемежал с нравоучениями. Делал он это не назойливо, как бы рассуждал сам с собою.

– Главное и основное правило состоит в том, чтобы всегда и со всеми соблюдать вежливость и благопристойность, а также моду и чистоту в одежде, – говорил он. – Помните поговорку: «По платью встречают», а на улице встречных много. Уступайте всем дорогу, не толкайтесь, а если кто вас толк-

нет, извинитесь. Это лучший способ дать понять невежде все неприличие его поведения. Особенно старательно уступайте место, во-первых, носильщикам, а, во-вторых, дамам. Первым потому, что им нет времени соблюдать этикет, они управляют своей тяжелой ношей. Дамам же давайте дорогу как образованный человек. Если вы встретитесь с женщиной на одновершковой тропинке, а кругом грязь или болото, не задумывайтесь, прыгайте в грязь! Легче замарать сапоги и панталоны, чем запятнать себя невежеством и неуважением к женскому полу!..

Казалось бы, ну какой интерес могут вызвать подобные наставления у подростков? Но ведь слушали, и не как сказку к интересной истории, а как настоящее руководство боевого офицера. И тот, в полной уверенности, что молодежь внимает, продолжал:

– В дождливое время не ступайте в лужи и не ходите вприпрыжку. Не частите, не семените, иначе так забрызгаетесь, что не только в порядочный дом, но и в магазин зайти будет стыдно. Взирайте на образцовую поступь старых пехотных офицеров, которые даже в распутицу едва замочат себе подошвы...

Так протекала их кадетская жизнь, которую время от времени разнообразили ребяческие проказы. Петя был от природы наделен прекрасными способностями и при желании мог легко стать первым учеником. Однако подобное желание он решительно подавлял, считая, что воля воспитывает-

ся совершением неординарных поступков, идущих вразрез с требованиями начальства и общепринятыми представлениями. Скажем, заболел зуб – Батов намерен отправить его в лазарет. Еще чего? Достает шпагат и привязывает его одним концом к зубу, а другим к ручке дежурной комнаты, предварительно удостоверившись, что Батя находится там. Изготовившись, начинает орать благим матом. Батов, естественно, опрометью бросается на крик. Трах! На его пути встает Петя с куском шпагата, на котором болтается вырванный зуб.

– Вот, господин майор! А вы что говорили?

Не мудрено, что через недолгое время он был произведен в Отчаянные – звание, которое заслуживали единицы, и то в старших классах. Отчаянный – это не просто недисциплинированный кадет, это кадет, способный на неординарные, рискованные действия. Например, пройти по карнизу третьего этажа или спуститься в пустой бочке с крутой лестницы. Среди Отчаянных случались Отпетые, типа Вепря, которым, вследствие неспособности к учению, ничего не оставалось делать, как проявлять себя в непозволительных действиях. Петя же был другого замеса, с выдающимися, как уже говорилось, способностями. К примеру, читая на уроке постороннюю книгу, мог без труда повторить только что сказанное преподавателем. Однажды на спор с ребятами даже сделался отличником – как ни спросят, отвечает урок без запинки. Удивленные учителя стали выставлять ему высший балл, но как только он получил десять «дюжин», как имено-

валась высшая 12-балльная оценка, и выиграл спор, учебу забросил – посчитал, что есть дела поважнее.

А каковы эти дела, можно только диву даваться. В числе распространенных развлечений были прыжки через кафедру, ту, что стояла в каждом классе и предназначалась для преподавателя. Иногда на нее водружали стопку книг, ходили слухи, что в соседнем классе кто-то умудрился перемахнуть даже через пять географических атласов. И вот однажды Петя объявил, что сможет взять более высокое препятствие, составленное из кафедры и ящика, куда сваливали мусор. Назначили час состязаний. Приглашенный на аттракцион прыгун из соседнего класса расквасил себе нос, тогда как Петя спокойно одолел препятствие. И никто не знал, что перед тем, как похвалиться, он несколько дней втайне от всех уходил после обеда в класс тренироваться.

Петина изобретательность проявлялась в разных формах, ее объектом становились воспитатели, преподаватели и сами кадеты, но если кому-то из товарищей грозила опасность, он бесстрашно брал вину на себя.

Идет урок химии. Преподаватель, добрейший Николай Иванович спрашивает Ваню Горохова, как добывается углерод. Тот, как говорится, ни в зуб ногой.

– Это который С?

– Верно, но как это С добывается?

Ваня в полной растерянности, вертит в разные стороны головой, надеясь услышать какую-нибудь подсказку.

Обостренный слух улавливает разные слова, но в голове полный хаос, и он, чтобы не молчать, вываливает все услышанное: газ, уголь, нагревание, хлор...

Николай Иванович оживает:

– Это какой же хлор?

– Тот, который CL, – пишет Ваня его латинское обозначение на доске и нагло добавляет: – Не знаете, что ли?

– О, как интересно, и что же дальше?

– Начинают нагревать...

– Так, так, – радостно поощряет его Николай Иванович.

– L постепенно улетучивается, а C остается...

– Прекрасно! – восклицает Николай Иванович. – Ставлю вам 12 баллов. Начинаю их нагревать, «1» улетучивается, а «2» остается. Садитесь.

– За что?! – возмущенно восклицает Ваня, затем меняет тон: – Двойка – это ведь без отпуска, а у меня мама больна... Смилуйтесь, господин преподаватель, следующий раз выучу, ей-богу...

Николай Иванович непреклонен и с притворной строгостью сажает его на место. Ваня неутешен. Соседствующий с ним Петя успокаивает:

– Чего расстраиваешься? Он начнет сейчас писать свои формулы, а я стащу журнал и допишу единицу – выйдет «12», хватит?

– Что ты? У меня сроду «12» не было.

– Не было, так будет, ты же сам обещал ему выучить урок.

Сказано – сделано. Николай Иванович ничего не заметил, но в конце урока, когда закрывал журнал, удивился:

– Горохов! Откуда у вас стоит «13», когда я вам «3» поставил?

– Как «3»? Вы же сказали, что «2»!

– Да вот так, вашу матушку пожалел. И что же теперь делать?

Петя тут как тут:

– Это я, господин преподаватель. Говорят, что вы все видите и помните, а я усомнился, вот и решил проверить. Теперь вижу, что был не прав.

Лесть, однако, не помогла.

– Вот и расскажите об этом всем, – посоветовал Николай Иванович, – в том числе и своему офицеру-воспитателю.

Петя послушался и был в очередной раз водворен в карцер.

На третьем году обучения в их отделении появился новичок – Федор Романов. Он был связан с императорской фамилией, чем безмерно похвалялся и требовал особого положения. Начальство ему потакало, а кадеты возмущались, ибо поведение новичка противоречило одному из основных правил их общежития – не высовываться. Батову такое его положение тоже не нравилось, но он до поры до времени терпел.

Учился Романов скверно, преподаватели его не спрашивали в уверенности, что тот не потянет даже на балл душевного спокойствия, а двойку ставить не решались, поскольку

ку это означало неувольнение в город и, значит, автоматически становилось известным наверху. Поди потом доказывай, ученик ли нерадивый или педагог никудышный. Такое положение, однако, не могло продолжаться вечно. Первым возмутился литератор Медведев, который, сколько ни спрашивал Романова, так и не смог добиться от него вразумительного ответа. В конце концов добрейший Сергей Петрович возмутился и вlepил ему единицу. Директор схватился за голову. Единица – это ведь не только неувольнение, это еще и порка. Да, да, так было введено в корпусе с его приходом: за каждую единицу полагалось 10 розог в наказание, за двойку – пять. Экзекуция проходила по субботам перед всем строем. Ну что тут делать? Директор после лихорадочных раздумий заболел, у инспектора классов тоже оказались неожиданные семейные обстоятельства, в силу которых он на службе не появился, словом, в субботу решение должен был принимать Батов.

Корпус с интересом ждал судного дня. В назначенный час рота выстроилась в актовом зале. Обстановка была привычной: лавка с тремя служителями да пук розог в кадке с водой. Наказуемого раздевали и клали на лавку, два служителя держали его за руки и ноги, а третий стегал. Считать удары должны были все хором, чтобы заглушить вопли истязаемого. Первым в этот день наказывали Тихонова за очередную провинность. Дело было для него привычным, наказание он переносил в высшей степени стойко, без звука. Поднимется,

застегнется и как ни в чем не бывало встанет в строй. Так произошло на этот раз, он еще и поблагодарил служителей – спасибо, дескать, братцы, за то, что поучили уму-разуму. Постегали еще двух нерадивцев, дело дошло до Романова, все замерли в ожидании.

– Раздевайтесь! – приказал ему Батов и показал на лавку. Тот не шевельнулся. Батя повысил голос и повторил приказание.

– Меня нельзя пороть! – выкрикнул Романов. – Я – князь! Батя качнул головой в сторону служителей, и те проворно спустили с него штаны.

– Вы не смеете, я – князь! – закричал тот что было мочи. Батя сделал удивленное лицо и поинтересовался у служителя:

– Савельич, глянь-ка, что там?

Служитель добросовестно осмотрел наказанного и доложил:

– Все как есть!

– Вот видишь, зад как зад, – глубокомысленно изрек Батя, – что у князя, что у нас, грешных. Пори!

И актовый зал разразился громкими воплями.

Истории этой не суждено было кончиться благополучно. Избитая светлость, впервые подвергшаяся прилюдному позору, громко стенала и грозила всем страшными карами. Сначала на ее угрозы не обращали внимания, считая их следствием нервного потрясения, но поскольку светлость не уни-

малась, ее следовало остудить. За дело взялся самый рассудительный из их класса Сережа Волков. Он увлекался геральдикой, знал всю родословную императорской фамилии и решил поставить задаваку на место.

– Скажи-ка, ваша светлость, – обратился он к нему с непривычной почтительностью, так что тот со страхом взглянул на него, ожидая какого-то нового подвоха. – Тебе ведь знакома фамилия Виттельсбахов?

– Ну как же? – оживился юный князь. – Моя бабушка носила в девичестве эту фамилию.

– До каких же пор?

– Пока не вышла замуж за дедушку Макса.

– Это не тот ли знаменитый мюнхенский банкир?

– Тот самый. О его несметных богатствах ходили целые легенды...

– А ты не знаешь его фамилию?

Борис пожал плечами:

– Зачем? У нас это не принято.

– А зря! – повысил голос Сережа. – Его фамилия была Рабинович, и происходил он из богатого еврейского рода...

– Что ж из этого?

– Ничего особенного, кроме одного: ты не Романов, а Рабинович!

Романовский отпрыск застыл с повисшей челюстью. Отношение к евреям было в то время довольно презрительное, их допускали только к некоторым отраслям жизни страны –

банковскому делу, юриспруденции, ну еще к публицистике, что же касается государственных учреждений или, скажем, военной службы, то появление там евреев было совершенно исключено. Борис Романов не стал даже спорить, повернулся и побежал с жалобой – так, мол, и так, оскорбляют императорскую фамилию, нужно принимать меры, не то доложу самому государю.

Директор корпуса тут же учинил строгое разбирательство. Кадетов, одного за другим, стали таскать к нему для допросов. Класс, конечно же, возмутился. Вступать в геральдические споры он не стал, но одно знал твердо: жалобы и доносы на товарищей недопустимы. Темная! – таков был единодушный приговор. В тот же вечер, едва объявили «укладку» и погасили огни, к кровати виновника прокрались две тени. Одна схватила его за ноги, другая накрыла голову подушкой. Делалось это для того, чтобы, как говорилось, не испортить прическу, но на самом деле предохраняло жертву от серьезных травм. Раздался призывный свист, и к месту экзекуции двинулись «палачи» с поясными ремнями. Спальня наполнилась звуками тяжелых шлепков и княжескими воплями. Дежурный офицер, сам бывший кадетов, от внимания которого не ускользнули ведущиеся приготовления, предпочел «отсутствовать по делам службы», так что совершению кадетского правосудия никто не помешал.

Утром избитая и стонущая светлость попросила отправить его домой. Над отделением нависла грозная туча – отец

Бориса великий князь Александр Михайлович славился крутым характером. Он, например, устраивал долгие строевые смотры в лютые морозы, проявлял чрезвычайную строгость к провинившимся нижним чинам, которых нередко забивали до смерти, офицера же мог лишить чина по самому ничтожному поводу.

Первым пострадал Батя, получивший предписание на увольнение с действительной службы. Ему даже не дали толком проститься с отделением.

– Ждал четыре года, а можно, оказывается, в 24 часа, – грустно пошутил он.

По всем признакам, эта жертва была не последней. Корпус лихорадочно готовился к посещению великого князя: служители натирали полы и мыли окна, офицеры стали чрезвычайно вежливыми и говорили вполголоса, кадет обрядили в обмундирование первого срока. Прошли две недели тревожного ожидания, и вот наконец он пожаловал сам.

Роту выстроили в актовом зале. В дверном проеме появилась грузная фигура великого князя в генеральском мундире. Строй не мог удержать вздоха ужаса. За генералом уныло плелся фискал. Генерал вышел на середину зала, обвел кадет пронзительным взглядом и поздоровался, словно прокаркал. Голос у него был громкий и хриплый. Приготовившиеся к самому худшему кадеты ответили недружно, и сопровождавший великого князя начальник корпуса взглянул на него с опаской.

Александр Михайлович вытолкнул вперед своего отпрыска и обратился к выстроившимся с неожиданным вопросом: – Ну что мне с ним делать?

Вопреки ожиданиям в его тоне не было ничего угрожающего, и общее напряжение разом спало.

– Он ведь и мне наябедничал, – доверительно продолжил великий князь и, приблизившись к строю, сказал: – Я вас прошу, побейте его хорошенько еще раз, чтобы он навсегда забыл фискалить.

После мгновения тишины кадеты разразились громкими криками. Еще ни разу им не приходилось кричать так самозабвенно и радостно. Начальник корпуса осуждающе покачал головой, но, увидев на лице великого князя некое подобие улыбки, смягчился и приказал Борису Романову встать в строй. Конечно же, вопреки просьбе отца его никто пальцем не тронул, но и он с этой поры стал почти настоящим кадетом. Почти – потому что высокое происхождение иногда все-таки мешало ему. Впрочем, врожденную спесь он в большинстве случаев стал прятать, охотно принимал участие во всех кадетских шалостях, и, где было можно, выручал ребят.

Как-то решили проучить Карла Ивановича, учителя немецкого языка. Это был вздорный старикашка, придира и большой любитель жаловаться начальству на нерадивость кадет. Из-за своей феноменальной рассеянности и скверной памяти он был вынужден пользоваться кондуитом – небольшой записной книжкой, куда заносил все классные дела. На-

ступала экзаменационная пора, и конduit для многих мог обернуться бедой. После долгих размышлений его решили у немца стащить. Едва окончился очередной урок, к Карлуше устремилась добрая половина класса.

– С днем ангела, герр лэрэр! Ура! – раздались радостные крики.

– Ви ошибайт! – испуганно закричал тот. – Я нет день ангел...

Его, понятно, никто не слушал. Подхватили на руки и давай качать, подбрасывая к потолку, пока из заднего кармана не вывалилась вожделенная книжка. Тогда «именинника» осторожно поставили на пол и пожелали счастливого пути.

В тот же день книжка подверглась торжественному сожжению. Но эта была лишь первая часть многоходовой комбинации. Немец, отчаявшись отыскать невесть куда запропастившийся конduit, решил устроить строгую контрольную работу и с ее помощью восстановить свои знания о «ленивый мальшишка». Те, однако, подготовились к такому развитию событий. Классные парты приблизили к боковым стенам, чтобы немец в узких проходах не появлялся, и протянули там суровые нитки – нечто вроде транспортера. К ним должны были прикрепляться ответы на коварные вопросы, которые приготовил Карлуша. Отвечать же на них предстояло Романову – тот знал немецкий не хуже русского, да еще с баварским диалектом – родство обязывало.

Контрольная началась и шла на высшем уровне: класс по-

казывал редкую дисциплину и прилежно скрипел перьями, заглушая неумолимую работу таинственного транспортера. С коварными вопросами он справился столь блестяще, что Карлуша побежал жаловаться инспектору: такого, дескать, быть не может, они наверняка все списали. Инспектором классов был в то время полковник Ковалев, который более всего заботился о собственном покое. Выслушав Карла Ивановича, он поморщился и спросил:

– А вы видели, как они списывали?

– Я не видел, но я имел чуйство...

Ковалев сразу оживился и воскликнул:

– Э-эх, батенька, вы себе цены не знаете, счастье учителя – в прилежных учениках. Позвольте вам выразить искреннюю признательность за успешную педагогическую работу...

Немец поклацал вставной челюстью и развел руками. Это был его последний урок перед уходом на пенсию, и разбираться в происшедшем никто не захотел. Это и спасло класс.

Происшедшие события и последовавшие за ними каникулы сделали уход Батова незаметным. Кадеты смогли по-настоящему оценить его только с приходом нового воспитателя. Им оказался поручик Снегирев, небольшого роста, с ярко-рыжей головой, как нельзя лучше оправдывающей его фамилию.

Маленький, да удаленький – таково было первое впечатление. Форма сидела на нем ловко, все до мелочей было при-

гнано, сапоги ослепительно сверкали, а от самого веяло дорогим одеколоном. До прихода в корпус он служил в кавалерии Преображенского полка, откуда принес с собой весьма своеобразный жаргон. Увидев, например, что после завтрака осталось много приевшейся всем «шрапнели», он заявил:

– Каша ячменная – самая отменная! Ежели хотите иметь приличный вид, нужно съесть все. У нас говорят: каков фураж, таков и антураж! – Когда же ребята начали хихикать, Снегирев решительно пресек вольности: – Громкое ржание – от недоедания.

Согласно бытовавшим правилам, кадеты тут же стали устраивать экзаменовку новоприбывшему начальству. Она касалась разнообразных предметов: знания традиций, ритуалов, а то и просто элементарных сведений из учебной программы. Делалось это не в насмешку, а для того, чтобы узнать, в каких областях новичок силен и спорить с ним не следует, а в каких его можно дурить. Подойдет, скажем, новый воспитатель к громко сопящим питомцам и поинтересуется, что за тяжелую работу они выполняют.

– Да вот, ваше благородие, корень извлекаем...

– Ну-ну, извлекайте, только не шумите...

Сразу становится ясно, кто он таков и тотчас нарекут его в насмешку Бернуллем или Витгом. Снегирев оказался в меру образованным. На корень не купился, даже изволил пошутить: прежде чем извлекать, нужно посадить – и отправил насмешников в карцер. Похоже, что шутить дозволяется

только ему.

Очень скоро определилась его истинная цена, и оказалась она невысокой. Кадет более всего возмущали пренебрежительные насмешки Снегиря. Они привыкли, что в корпусе им все терпеливо объясняют, да еще по несколько раз, а этот особо себя не утруждал. Началась у них, скажем, верховая езда. Кто-то уже имел к ней навыки в прежней домашней жизни, а иные, городские, видели лошадок разве что со стороны. Эти удостаивались ядовитых насмешек. Встанет Снегирь перед строем, расставит ноги и начнет поучения:

– Офицер должен к любому военному ремеслу навык иметь: посади его хоть на быка, хоть на верблюда, ну а на коне вообще должен чувствовать себя уверенно. Для всех бывших штатских напоминаю положения петровского устава: если едущий верхом пехотный чин увидел кавалериста, то ему следует немедля слезть с лошади и вести ее на поводу, дабы своей гнусной посадкой не возмущать кавалериста и не вызывать его на ссору...

По сравнению с героическими рассказами Бати все это выглядело грубовато. Он вообще много суетился, беспрестанно делал замечания и почти всякий раз завершал их унылым выводом:

– Будем воспитывать...

Петя, глядя на его суматошные метания, припомнил Державина:

Что ты заводишь песню военную
Флейте подобно, милый снегирь?

Припомнил, должно быть, слишком явственно, потому что Снегирев быстро усмотрел в нем своего главного недоброжелателя и стал придирается по мелочам.

Прежние корпуса имели, как известно, двойную организацию: учебную и строевую. Первую составлял учительский состав во главе с инспектором классов. Она отвечала за учебную работу. Воспитанием кадет и всем укладом внутренней жизни занимались офицеры-воспитатели и командиры рот. Обе ветви существовали довольно мирно, во всяком случае, особых противоречий между ними не возникало. Снегирев вздумал было такое положение переиначить. Как только оканчивался урок и наступала перемена, он появлялся в классе и выдавал очередные указания. Говорил о разной чепухе: плохой заправке кроватей, беспорядке в шкафчиках, грязной обуви, разбитых стеклах, поцарапанной мебели, оторванных пуговицах, плохом внешнем виде, громкой ругани, скверно начищенных бляхах, табачном дыме в уборных, хлебных крошках в карманах... Особенно усердствовал перед уроками истории, признав привычку рассеянного учителя опаздывать к началу урока. Ребята, которым довольно быстро надоели утомительные наставления нового воспитателя, решили постоять за свои права.

Однажды, как только прозвучал сигнал на перемену и в

класс влетел Снегирь с очередными наставлениями, они затопали ногами. Столкнувшись с таким явлением впервые, тот даже опешил от негодования, однако вскоре пришел в себя и стал подавать команды противным голосом:

– Встать! Сесть! Встать! Сесть!

Когда вставали, топот прекращался, когда садились, возникал снова. На шум прибежал инспектор классов полковник Ковалев. На его грозный вопрос о причине беспорядка объяснили, что отделение хочет в уборную, а поскольку его не пускают, оно непроизвольно стучит ножками во избежание избежания...

Полковник приказал отделению идти по своим надобностям, а Снегиря пригласил к себе на беседу. Более тот на переменах не появлялся, зато скоро отыгрался по-своему.

По вечерам после укладки в дальнем конце кадетской спальни начинался «треп» – каждый по очереди должен был рассказать какую-либо историю. Она могла быть заимствована из прочитанной книги, от кого-то услышанной или просто сочиненной самим. Дежурные офицеры с этим мирились и, едва раздавался сигнал на укладку, отправлялись по своим делам, дабы не мешать вошедшему в обиход ритуалу. Но не таков был Снегирь. Он взял себе в привычку решительно пресекать ночные бдения, а в очередное дежурство пошел еще дальше.

Среди рассказчиков имелись отменные трепачи, которые с удовольствием за какую-либо мзду (компот, сахар или

неизменные полбулки) могли заменить очередника. В их числе оказался и маленький Ваня, у которого обнаружилось богатое воображение. Сегодня подошла как раз его очередь.

– Хотите верьте, хотите нет, – начал он свой рассказ с обязательной фразы, – но эта история произошла в нашем корпусе вскоре после его основания. Тогда в кадеты принимали сразу после рождения, а выкармливать младенцев должны были особые кормилицы. Считалось, что в этом случае дитя не будет впитывать родительских грехов и всецело отдастся службе. Эти кормилицы находились под началом одного старого унтера, большого любителя выпить...

– Молока? – послышался чей-то ехидный голос.

– От бешеной коровы. Будете перебивать, не стану рассказывать...

На любопытного сразу же зашикали, а Ваню успокоили:

– Мы больше не будем, трепанируй дальше.

– Так вот, однажды, когда унтеру пришлось быть в подпитии, появилась молодая красивая кормилица, которую он сразу же приставил к недавно принятому младенцу. Все шло обычным порядком, но по прошествии некоторого времени стали замечать, что эта самая кормилица никогда не молится и уклоняется от посещения церкви. Унтеру об этом сказали, только тот не поверил, потому как она ему очень нравилась. Тогда решили подождать, когда он очередной раз напьется, и свести ее в церковь насильно. Взяли под руки и повели. Она ничего, поначалу шла спокойно, но на подходе к церкви

вдруг забеспокоилась, стала вырываться, а когда взошли на паперть, вовсе взбеленилась, вспыхнула синим огнем и исчезла. Одни рукава остались от платья, за которые ее держали. Ясное дело, ведьма. Что делать? Унтера, понятно, от дела отставили, а за младенцем, которого она кормила, учинили строгий надзор. Однако ничего необычного не нашли, и вскоре это дело забылось.

Прошло довольно времени, младенец вырос, перешел в средние классы, где изучались серьезные предметы, и тут выявились странности. По русскому и географии учится средне, а по математике и физике – преотлично, причем, когда отвечал по этим предметам, голос у него менялся и становился таким резким, будто железом по стеклу царапают...

– Это что за сборище? – строго спросил невесть откуда появившийся Снегирь. Ребят будто ветром сдуло, только захихикали, потому как его голос очень напоминал тот, о котором только что рассказывалось. – Всем спать и прекратить посторонние разговоры!

Как только он вышел, вокруг Вани образовался прежний кружок, давай, дескать, дальше. Ваня как ни в чем не бывало продолжил:

– По всему вышло, что с молоком ведьмы этот кадет впитал в себя нечто бесовское, которое время от времени проявлялось. Тогда случались презабавные вещи. Запоеет, скажем, песню, а бесенок, который в нем сидит, начнет подтягивать вторым голосом, и ладно у них выходит. Зато если молитву

петь или из Священного Писания читать, лад куда-то уходит, один скрип получается.

Нашему кадету в том особого убытка не выходило, потому как корпусной батюшка был добрый, ему хоть пой, хоть скрипи, все одно. Зато физик с математиком им не нахвалятся, выставляют наивысшие баллы. А чего не выставлять, если он со своим бесенком мог часами разговаривать? Так и уроки стал учить – одним голосом за учителя спрашивает, а другим сам отвечает. Если вызовут, себе же и подсказывает, а понадобится, и соседа выручит: станет с ним рядом у доски и за него ответит. Ему-то что, разве жалко, если бесенок резвится?

А то еще петь начнут. Он баритоном, бесенок тенорком, и так у них ладно получалось, что из других возрастов приходили слушать. Однажды только казус вышел. Наш кадет вдруг затянул: «Да исправится молитва моя», а бесенок поперхнулся и замолчал. Насчет молитвы у них никакого согласия не выходило. Зато если посадят его в карцер, начинают так петь, что половина корпуса сбегается. У них для полного благозвучия откуда-то еще один подголосок появлялся и кажется, что в карцере много народа сидит. Прибегут дядьки, воспитатели, а наш кадет их как ни в чем не бывало спрашивает: «Что прикажете, господа?» И уже другим голосом кричит: «Это не он, это мы кричали». Всех с толку собьет...

– А что с ним стало? – не выдержали слушатели, но ответа на свой вопрос не дождались, ибо в спальню снова вошел

Снегирь.

– Вам что, не спится? – спросил он у сгрудившихся кадет и, получив утвердительный ответ, скомандовал подъем. – Не желаете валяться, так извольте прогуляться, – изрек он очередную сентенцию и вывел отделение во двор.

Погода была скверная, почти целый день сеял надоедливый дождь, весь двор был в лужах. А Снегиреву хоть бы что – скомандовал «Бегом марш!» и заставил сделать добрый круг. Затем остановил отделение перед большой лужей и после короткой нравоучительной проповеди о необходимости неуклонного соблюдения распорядка дня скомандовал: «Шаг вперед, марш!» Кадеты напрягли силенки и перешагнули через лужу. Снегирева это не устроило, он усмехнулся и скомандовал сделать полшага назад. Отделение перешагнуло лужу в обратном направлении. Последовала уточненная команда, по всему выходило, что поручик вознамерился загнать отделение в лужу.

– Второе крещение Руси... – донеслось из строя.

– Кто сказал?

Ну да, захотела птичка зернышка, да не тут-то было.

– Кто сказал?... Будете стоять до тех пор, пока не признаетесь...

Последовало минутное молчание, и Петя, припомнив сказки старого майора, прошептал:

– Придется признаваться, он ведь как Негус – хочет теплой крови.

А Снегирев вдруг и услышал, но не все, а чего не услышал, домыслил и отнес на свой счет.

– Я сейчас вам покажу Снегуса...

В строю раздались смешки, что особенно возмутило поручика.

– Прекратить! Тихонов, выйти из строя!

Это у него вошло в привычку – чуть что, сразу Тихонов. Петя сделал несколько шагов вперед и не удержался от маленькой мести: на последнем шаге выразил строевое усердие и так стукнул ногой по луже, что окатил поручика грязью чуть ли не до пояса. У того даже голос отнялся от возмущения.

– В карцер! – пропищал он.

– Надолго ли? – поинтересовался Петя.

– Навсегда...

Карцер для Пети – привычное место. Сиди, думай, а хочешь, сочиняй разные истории или стихи. Затворничество этому содействовало, все стены сего угрюмого заведения были заполнены пометками страдальцев. Сначала с ними боролись: забеливали, тогда их стали выцарапывать, и начальство во избежание серьезной порчи стен перестало обращать внимание на подписи. Петя как завсегдатай этого места был хорошо знаком с творчеством узников.

Сюда попал по воле рока

За то, что спал в конце урока.

Ну, это старая запись, она еле-еле проглядывает через по-
белку.

Отворите мне темницу,
И подать сюда девицу!

Это вольное переложение Лермонтова принадлежало воз-
мужавшему старшекласснику. Петя помнил, что просьбу его
не уважили и после выпуска сослали в такую глушь, где жен-
щин не видали со времен Адама.

На двери нацарапано намертво:

Томлюсь, грущу, вздыхаю
И лето вспоминаю...

«Тоже мне лирик», – поморщился Петя. А вот целая по-
эма:

По воле провидения,
Чтоб не болтался зря,
В сие влип заведение
К началу октября.
Кутузка препоганая,
Скамейка, стол стоит,
И шельма бородатая
У двери сторожит.

Следующие строфы скрывались за деревянным топчаном, который, верно, и установили сюда, чтобы не позволить любознательному узнику познакомиться со страданиями предшественника полностью. Читал-читал Петя надписи, и скучно ему стало. Ведь это все равно, что зачитанную до дыр книгу в сотый раз перелистывать. Он эти надписи уже наизусть знал. Решил тогда петь на два голоса, как тот кадет, о котором Ваня рассказывал. Начал с наиболее подходящей песни:

Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормленный в неволе орел мо-о-лодой...

С первым голосом еще куда ни шло, а вот второй никак не получался. Он и тихо, и громко пробовал – никак. Время позднее, тишина, все кругом спят, лишь Петин голос раздается. Гуляет по каменным закоулкам, отражается от стен многоголосым эхом, и действительно кажется, что целый хор поет. Снаружи загремел засов, и в дверь просунулась бородастая голова служителя.

– Чего горланишь, господин кадет?

Петя не ответил, прикрыл глаза и свое:

Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет по-од окном.

Служитель скрылся, а когда Петя повторил куплет, возник снова.

– Может, ты есть хочешь?

Видно, песня его проняла.

– А что у тебя есть? – прервал Петя свое соло.

– Хлебушек имею и редьку найду.

Петя пренебрежительно махнул рукой и продолжил про кровавую пищу. Служитель закрыл дверь и отправился к дежурному офицеру докладывать о странном поведении узника. Спустя некоторое время прилетел Снегирь и стал чирикать свое: почему, дескать, нарушаете тишину и мешаете людям спать? Петя его не слушает и опять про орла вспоминает, как тот к узнику пристаёт и выручить хочет: давай, мол, улетим. Выругался Снегирь, приказал проверить запоры, чтобы орелик впрямь не улетел, и, пригрозив разными карами, пошел в дежурку досыпать. Петя наконец утомился и остаток ночи провел спокойно.

Рано утром его подняли и повели к доктору Ивану Ивановичу. Это был глубокий старик, скучавший в своем лазарете. Больных у него всегда было мало, потому что самым распространенным методом его лечения была обычная клизма, а в виде особого внимания – двойная с мылом. Кадеты обращались к нему лишь в крайнем случае.

– На что жалуетесь, юноша? – оживился он при виде потенциального пациента.

Петя ответил, что здоров и жалоб у него совершенно никаких нет. Доктор посмотрел на сопровождавшего унтера. Тот пояснил:

– Цельную ночь песни горланил, про кровавую пищу, значить...

Доктор перевел взгляд на Петю, и тот с готовностью пояснил:

– Сижу, значить, за решеткой в темнице сырой.

– Вон! – скомандовал доктор и отвернулся.

Петю возвратили в карцер. Долго ему, однако, скучать в одиночестве не пришлось. Оставшийся за директора полковник Ковалев решил сам поговорить с арестованным. Пришел в карцер, сморщился от скверного духа и начал выпрашивать, почему Петя нарушает дисциплину и не пора ли ему переменить свое поведение, если хочет дальше оставаться в корпусе. Петя покаянно вздыхал.

– Ну что вы молчите? – не выдержал Ковалев. – Будете еще безобразничать?

– Никак нет! – ответил тот. – Только так и не знаю, за что сижу.

– То есть как это?

Тут Петя и поведал ему про вчерашний ночной выгул: «Я про „крещение Руси“ не говорил, потому как этот период истории отчетливо не помню, ну а кто говорил, пусть сам признается, ибо у нас не принято на товарища показывать. А если на сапоги их благородия брызнул, так ведь кругом были лужи и темно – не разглядел...»

Заниматься подобной ерундой Ковалеву не с руки, его другое заинтересовало: почему отделение оказалось на стро-

евых занятиях в столь поздний час, когда спать положено. Петя пояснил. Тогда Ковалев приказал Пете идти на уроки, а сам вызвал к себе Снегирева и устроил ему разнос за вопиющее нарушение распорядка дня. Петя возвратился в отделение героем, а Снегирь – ошипанной птицей. Некоторое время между ними было этакое динамическое равновесие, они как бы не замечали друг друга. Первым не выдержал Снегирь, вызвал к себе Петю и устроил с ним задушевную беседу: я, мол, с вами и так и сяк, а вы никак ни этак. Однако Петю одной беседой не возьмешь, он на все разглагольствования отвечал казенно: «так точно» или «никак нет», иногда «покорно благодарю».

– Ну почему вы не похожи на моего сына? – с горечью воскликнул Снегирь.

– Виноват, господин поручик, – покаянно ответил Петя, а когда наконец был отпущен, задумался: «Может быть, и вправду надо пожалеть воспитателя, ежели он про сынка заговорил? Нужно будет поглядеть на этот экспонат, который в пример выставляется».

Офицерские квартиры располагались прямо при корпусе, только вход к ним был со двора. Выбрал Петя время, когда хозяин будет там отсутствовать, и постучался. Дверь открыл денщик, Петя ему: так, мол, и так, дозвоьте посмотреть на сына господина поручика. Тот подозрительно глянул на него и ответил:

– Нет у их благородия сыночка, помер при рождении...

Вот, оказывается, каков этот Снегус, которого он чуть не пожалел. Ну ладно. В очередное, не так часто случавшееся увольнение в город пришел Петя в находившуюся по соседству редакцию «Губернских ведомостей» и заказал там объявление. Через некоторое время приходит в корпус газета, и там написано:

«К нам прибыл ученый попугай – зеленокрылый ара. Нижняя часть зеленая, а верхняя красная. По раскраске напоминает форму Преображенского полка, где он долгое время стоял на довольствии. Знает много команд для строя и часто их применяет. Смотреть в кадетском корпусе на квартире поручика Снегирева от семи до девяти часов».

Объявление нашло восторженное одобрение, все ждали интересных последствий, и они не замедлили появиться. Вскоре у квартиры Снегирева оказался местный купец, который торговал разными военными причиндалами. По своей купеческой мысли он решил, что подобная птица-попугай будет весьма способствовать его торговому делу.

«Так, мол, и так, – сказал он вышедшему денщику, – хочу самолично глянуть на говорящую птицу и, ежели понравится, приспособить ее к своему делу за приличную плату». Денщик, конечно, ничего не понял. Ступай, говорит, дядя, отсель, никакой такой птицы мы не имеем. А купец настаивает, на газету показывает и денщику гривенник сует. Тот, однако, на своем стоит. Тогда на шум вышел сам хозяин, он уже был при форме, поскольку пришло время идти на служ-

бу. Принял он важный вид и стал выспрашивать про купеческое дело, а тот, как глянул на него, забормотал молитву – птица-то оказалась в человечесьем облике, хотя по объявлению все цвета сходились. Извиняйте, говорит, ваше благородие, думал красенькой обойтись, а ныне вижу, что вы птица не по моему карману. Ушел он и газетку оставил, из нее-то Снегирев и узнал про новую кадетскую проделку. Чьих она рук, гадать не приходилось, и тогда решил он приложить все силы, чтобы от Тихонова избавиться. Раз и навсегда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.